

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
имени А. С. ПУШКИНА

## **ВЕСТНИК**

**Ленинградского государственного университета  
имени А. С. Пушкина**

*Научный журнал*

**№1 (9)  
серия филология**

Санкт-Петербург  
2008

**Вестник**  
**Ленинградского государственного университета**  
**имени А. С. Пушкина**

*Научный журнал*

№ 1 (9)  
Основан в 2006 году  
**серия филология**

---

Учредитель: Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Ленинградский государственный университет имени А. С. Пушкина»

*Редакционная коллегия:*

В. Н. Скворцов (главный редактор),  
Е. С. Нарышкина (зам. главного редактора),  
А. М. Судариков (отв. секретарь),  
Л. Л. Букин, Т. В. Мальцева, Г. П. Чепуренко

*Редакционный совет:*

Т. Я. Гринфельд-Зингурс, доктор филологических наук, профессор;  
Е. И. Колесникова, кандидат филологических наук, доцент (отв. за выпуск);  
С. А. Семячко, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник;  
И. Б. Смирнов, кандидат педагогических наук, доцент;  
Л. И. Харченкова, доктор педагогических наук, профессор;  
С. С. Шимберг, кандидат филологических наук, доцент;  
В. А. Ямшанова, доктор филологических наук, профессор

*Журнал входит в перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, рекомендованных ВАК РФ для публикации результатов докторских исследований*

Отв. редактор А. А. Беляева  
Редактор А. А. Титова  
Технический редактор Н. В. Чернышева  
Свидетельство о регистрации: **ПИ № ФС77-23714**  
Подписной индекс Роспечати: **36224**

Адрес редакции:  
196605, Россия, Санкт-Петербург,  
Петербургское шоссе, д.10  
тел. / факс: (812) 476-90-34

© Ленинградский государственный  
университет (ЛГУ)  
имени А. С. Пушкина, 2008

## Содержание

<u>ПОЭТИКА ЛИТЕРАТУРЫ.....</u>	<u>7</u>
<u>А. В. Громова.....</u>	<u>7</u>
<u>Жанровый состав</u> <u>литературно-критического наследия Б. К. Зайцева.....</u>	<u>7</u>
<u>Р. С.-И. Семькина .....</u>	<u>16</u>
<u>Ф. М. Достоевский и Ю. В. Мамлеев:</u> <u>об «изменении лица человеческого»: метафизика превращений.....</u>	<u>16</u>
<u>Л. И. Черемисинова .....</u>	<u>23</u>
<u>«Путевые впечатления» А. А. Фета в контексте его прозы.....</u>	<u>23</u>
<u>Е. М. Конышев.....</u>	<u>31</u>
<u>Герои тургеневских романов в аспекте христианской морали.....</u>	<u>31</u>
<u>Н. А. Переверзева .....</u>	<u>44</u>
<u>О символической функции лейтмотивов</u> <u>в повести Л. Н. Толстого «Смерть Ивана Ильича».....</u>	<u>45</u>
<u>С. В. Добряков .....</u>	<u>54</u>
<u>Тенденции эпистолярной и мемуарной прозы К. Н. Леонтьева.....</u>	<u>54</u>
<u>Т. А. Кошемчук.....</u>	<u>66</u>
<u>Образы ангела и демона в поэтических видениях А. А. Фета.....</u>	<u>66</u>
<u>А. Е. Кунильский .....</u>	<u>75</u>
<u>О возникновении концепта «живая жизнь» у Достоевского.....</u>	<u>75</u>
<u>А. В. Громова .....</u>	<u>83</u>
<u>Путевые циклы Б. К. Зайцева: жанровый аспект.....</u>	<u>83</u>
<u>Е. И. Колесникова .....</u>	<u>92</u>
<u>Ювенильный миф в прозе А. Платонова.....</u>	<u>92</u>
<u>И. А. Манкевич.....</u>	<u>100</u>
<u>Ароматы и запахи в жизни А. П. Чехова:</u> <u>мифопоэтика ольфакторных сюжетов</u> <u>в зеркале эпистолярной и мемуарной чеховианы.....</u>	<u>100</u>
<u>О. И. Тиманова.....</u>	<u>110</u>

<u>Вопросы сказочной фантастики в литературной эстетике</u> <u>и критике М. Л. Михайлова.....</u>	<u>110</u>
<u>ЯЗЫК И ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ.....</u>	<u>118</u>
<u>А. Н. Анисимова.....</u>	<u>118</u>
<u>Проблемы изучения словосочетания</u> <u>в специальной (коррекционной) школе.....</u>	<u>118</u>
<u>Е. В. Боровкова.....</u>	<u>129</u>
<u>К вопросу о разработке речевого паспорта</u> <u>языковой личности учителя-словесника.....</u>	<u>129</u>
<u>М. В. Ягодкина.....</u>	<u>142</u>
<u>Реализация компенсаторности в языке рекламы.....</u>	<u>142</u>
<u>Р. В. Рюмин.....</u>	<u>149</u>
<u>Разговорная лексика в социолектной лексикографии.....</u>	<u>149</u>
<u>Р. В. Рюмин.....</u>	<u>158</u>
<u>Многоаспектное описание социолектизма в словаре.....</u>	<u>158</u>
<u>Г. Ю. Яковлев.....</u>	<u>166</u>
<u>О структуре и системе языковых процессов.....</u>	<u>166</u>
<u>А. Н. Анисимова.....</u>	<u>173</u>
<u>О приоритетах в изучении синтаксических единиц.....</u>	<u>173</u>

## CONTENTS

### POETICS OF THE LITERATURE

*A. V. Gromova*

Genre structure of the B. Zajtsev's literary-critical works.....7

*R. S.-I. Semykina*

Dostoevsky F.M. and Mamleev Y.V. About «changes in human face»: metaphysics of transformation.....16

*L. I. Cheremisinova*

«Travelling impressions» by A.A. Fet in the context of his prose .....23

*E. M. Konyshov*

Turgenev's characters and Christian moral values .....31

*N. A. Pereverseva*

The symbolic function of leitmotifs in L.N. Tolstoy's story «Ivan Ilyich's death».....45

*S. V. Dobryakov*

The trends of C. N. Leontyev's epistolary and memoir prose.....54

*T. A. Koshemchuk*

Conception of angels and demons in the poetical visions of A. A. Fet .....66

*A. E. Kunil'skii*

The origin of «Live life» concept with Dostoevskiy.....75

*A. V. Gromova*

B. Zajtsev's traveling sketches: aspect of the genre.....83

*Ye. I. Kolesnikova*

Myth of youth in prose of A. Platonov.....92

*I. A. Mankevich*

Fragrances and smells in A. P. Chekhov's life: the mythopoetics of olfactory plots in the mirror of epistolary and autobiographic chekhoviana .....100

*O. I. Timanova*

The questions of fabulous fantastic in Michailov's literature esthetics and critic.....111

### LANGUAGE AND LINGUAL PERSON

*A. N. Anisimova*

Problems in studying word union in special (correctional) school.....119

*E. V. Borovkova*

Focus on developing of communicative competence profile of language and literature teacher's linguistic personality.....130

*M. V. Yagodkina*

Realization compensatoriness in language of advertising.....143

*R. V. Ryumin*

Colloquial vocabulary in the social lexicography .....	151
<i>R. V. Ryumin</i>	
A polyaspect description of sociolectism in the dictionary.....	159
<i>G. Y. Yakovlev</i>	
About structure and system of the language processes .....	167
<i>A. N. Anisimova</i>	
About priorities in syntax units studying .....	174

# ПОЭТИКА ЛИТЕРАТУРЫ

УДК 821.161.1.09

*А. В. Громова\**

## **Жанровый состав литературно-критического наследия Б. К. Зайцева**

Статья содержит описание жанрового состава литературно-критического наследия Б.К. Зайцева. Охарактеризованы жанры рецензии, статьи и биографического очерка в его творчестве. Обозначена принадлежность литературной критики Б.К. Зайцева к импрессионистическому течению. Прослежена связь между литературно-критическими жанрами и жанром беллетризованной биографии в творчестве писателя.

The article includes description of genre structure of B. Zajtsev's literary-critical heritage. Genres of the review, article and the biographic sketch are characterized. Also connection of B. Zajtsev's literary criticism to impressionistic trend is marked. The article shows connection between literary-critical genres and a "biography romance" genre in B. Zajtsev's works.

*Ключевые слова:* Б.К. Зайцев, литературная критика, жанр, рецензия, статья, биографический очерк.

Русская эмиграция первой волны, в составе которой было немало выдающихся деятелей искусства, считала своей миссией сохранение национальной культуры, полностью отвергнутой, как им казалось, на родине. Это ощущение возложенного историей долга, наряду с тоской по утраченной России, побудило многих изгнанников выступить в роли историков русской литературы и литературных критиков. Критические работы занимают важное место в наследии писателей зарубежья: Б.К. Зайцева, В.В. Набокова, В.Ф. Ходасевича и др.

Зайцев, будучи в разное время сотрудником различных периодических изданий русского зарубежья (газет «Дни», «Последние новости», «Возрождение», «Русская мысль», журналов «Перезвоны», «Современные записки» и др.), нередко откликался на текущие события общественной и литературной жизни. В его наследии сохранилось много произведений, написанных «на случай», в числе которых – рецензии, юбилейные статьи, очерки. Но, несмотря на кажущуюся «случайность» появления, литературная критика Зайцева представляет ценный материал для уяснения взглядов писателя на

---

\* Кандидат филологических наук, доцент, Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина.

русскую и мировую литературу, его эстетических принципов и мировоззрения. Кроме того, литературно-критические жанры в творчестве Зайцева оказались тесно связанными с его оригинальным художественно-документальным творчеством, в частности, с жанрами беллетризованной биографии и литературного портрета. При этом системный анализ литературно-критического наследия Зайцева в аспекте жанрового своеобразия еще не предпринимался.

Разработка теории литературно-критических жанров была начата в Л.П. Гроссманом, который, стремясь как можно полнее охватить спектр существующих жанров критики (он выделил семнадцать жанровых разновидностей), не смог соблюсти единство принципов систематизации [1]. М.Я. Поляков предложил принцип классификации критических жанров по соотношению литературного факта и проблематики, но этот критерий оказался весьма нечетким [9]. Характеристику жанров литературной критики на материале конкретных историко-литературных периодов давали также Б.Ф. Егоров [2], Д.Е. Максимов [6], В.В. Перхин [8]. Хотя исследования названных ученых содержат плодотворные для теории и истории литературы выводы, теоретическое осмысление жанров критики еще не завершено.

Наиболее адекватной представляется классификация критических жанров по объекту исследования. Три основных объекта: *произведение, процесс и автор* порождают соответственно три основных жанра критики: *рецензию, статью, портрет*. Необходимо отметить, что литературный портрет, выделившись из круга критических жанров, обрел самостоятельное бытие благодаря эстетическому качеству и ослаблению свойственных критике «прикладных» функций. Он отмежевался и от мемуарного очерка в силу четко определяемой специфики (в частности, объекта изображения и типа композиции). Поэтому созданные Зайцевым мемуарные очерки и литературные портреты выведены за границы литературной критики, а в ее рамках остаются такие разновидности портрета, как биографический очерк и силуэт писателя.

Жанровый состав литературной критики Зайцева многообразен и представлен преимущественно жанрами рецензии, статьи и биографического очерка. При этом рецензии, в силу своей жанровой функции, отражают события современного литературного процесса, а статьи и биографические очерки посвящены преимущественно писателям предшествующих эпох.

Своеобразие литературной критики Зайцева обусловлено ее принадлежностью к импрессионистическому течению и ориентацией автора на эстетические открытия Ю.И. Айхенвальда, автора «Силуэтов русских писателей» (первый выпуск – 1906). Критик выступил против традиционного культурно-исторического подхода к явлениям

литературы, не уделявшего должного внимания индивидуальности писателя и художественной эмоции читателя. В соответствии с концепцией Айхенвальда, ключом к пониманию личности творца могут служить только его творения (а не факты биографии или исторической эпохи), поэтому при воссоздании художественного мира писателя критик опирался, в основном, на свои впечатления от чтения его произведений.

Зайцева, как и Айхенвальда, интересовало в литературном произведении отражение духовного мира автора. Характеристика творческого наследия и литературного мастерства писателей в статьях Зайцева не имеет самодовлеющего значения, как правило, дается бегло и всегда сопровождается размышлениями о духовной сути, «трудно-рассказуемом ядре» [5: X, 20] личности писателя и его художественного мира. Проникновение в «душу» произведения осуществлялось не через анализ, а через эмпатию («вчувствование»). Лирической рефлексии критика более всего отвечал жанр «силуэта писателя», который содержит обобщенную характеристику художественного мира писателя, основанную на анализе эмоций критика по поводу прочитанного. Главным средством воплощения художественной идеи автора в силуэте является язык, основным элементом стиля – обобщенная характеристика; текст изобилует эпитетами, часто используются существительные и прилагательные без глаголов, ибо важна не логическая расшифровка образа, а лишь указание на него [7: 14]. Хотя в творческой практике Зайцева силуэт в чистом виде представлен единичными произведениями («О Тургеневе», 1918; «Пушкин. (Перечитывая его)», 1949), он оказался «растворен» в других жанрах: статьи, биографического очерка и даже художественной биографии.

Наиболее оперативным жанром критики является рецензия, назначение которой – знакомить читателя с литературной новинкой. В наследии Зайцева сохранилось около 30 произведений этого жанра. Композиция зайцевских рецензий традиционна (включает общую характеристику рецензируемой книги и ее оценку), а своеобразие заключается в лиризме, размывающем жесткую структуру текстов. Они могут содержать исповедальные, публицистические или мемуарные фрагменты, переходить в портрет, статью, эссе.

В первые годы эмиграции (1924–1926) Зайцев создает объемные отзывы, в которых наблюдается синтез рецензии и других литературно-критических жанров. Например, «Италия и Гобино», «П.П. Муратов. Образы Италии» близки к проблемной статье, а отзыв на созданную Н.А. Бердяевым биографию К.Н. Леонтьева перерастает в двойной литературный портрет: героя книги и ее автора. Во второй половине 1920-х гг. Зайцев пишет преимущественно короткие рецензии на художественные произведения писателей-эми-

грантов (Н.Н. Берберовой, И.А. Бунина, В. Корчемного, М.А. Осоргина, Г. Пескова, Ф.А. Степуна, Тэффи). В 1930-е гг. вновь проявляется тяготение к более свободной форме, дающей возможность включить размышления религиозно-философского характера (отзывы о книгах «Святые Древней Руси» Г.П. Федотова, «Иисус Неизвестный» Д.С. Мережковского). Рецензии 1940–1960-х гг. приближаются к жанру эссе. Они входят составной частью в лирический очерк, посвященный какой-либо нравственно-психологической или религиозно-философской проблеме, и имеют обобщенные заглавия: «Утешение книг», «Уходы».

Главная особенность жанровой поэтики зайцевских рецензий – это лиризация и тяготение к более свободным и синтетическим формам, таким как литературный портрет, очерк, статья.

В наследии Зайцева около шестидесяти произведений представляют собой разновидности жанра литературно-критической статьи, причем преобладают юбилейные статьи, приуроченные к значимым для русской культуры датам.

Анализ статей показал, что зайцевская трактовка литературного процесса соотносима с трактовками символистов и других представителей философско-эстетической критики начала XX в. Этот факт, наряду с ориентацией писателя на эстетические принципы импрессионистической критики, свидетельствует о его глубокой укорененности в культуре Серебряного века.

Следуя широко распространенному на рубеже веков представлению, Зайцев сформулировал мысль о существовании в русской литературе двух течений: пушкинского (светлого, «аполлинического») и гоголевского («дионисийского», «ночного»). «Пушкинское» течение ограничено собственно художественными задачами, «гоголевское» примыкает к миру религии и морали. К первому отнесены Тургенев и Чехов, ко второму – Достоевский и (с оговорками) Л. Толстой [3]. В литературной критике Зайцева (также как и в его художественном творчестве) проявилась приверженность «тургеневско-чеховской» линии литературного развития: наибольшее число его статей посвящено Пушкину (9), Тургеневу (18) и Чехову (16).

Конкретные оценки, данные Зайцевым, также соотносимы с идеями критики Серебряного века. В 1900-е гг. писатель увлекался символизмом и высоко ценил принесенный им новый взгляд на литературу, «прославление Тютчева и Баратынского, более углубленную оценку Гоголя» [5: IX, 36]. Впоследствии Зайцев изменил отношение к этому направлению в искусстве, что было обусловлено духовной эволюцией писателя, обретшего для себя идеалы в православии. В 1930–1960 гг. он пересмотрел многие символистские оценки и нередко критиковал поиски «демонического» начала в

мире, человеке и литературе, стремился отыскать проявления христианских идей в творчестве писателей (даже тех, которые традиционно считались позитивистами или атеистами).

Девять статей о А.С. Пушкине, созданные в 1925–1962 гг., приурочены к памятным пушкинским датам, но в рамках юбилейной статьи критик использует черты разных жанров: публицистической и проблемной статьи, литературного силуэта. Например, статьи «Пушкин в нашей душе» (1925) и «Памятник Пушкину» (1937) по своей жанровой сути являются проблемными: в них рассматривается вопрос о восприятии Пушкина представителями различных общественных и эстетических групп в разные исторические периоды. В статье «Пушкин. (Перечитывая его)» (1949) прослеживаются черты поэтики литературного силуэта. Зайцев воссоздает человеческий облик поэта «изнутри», основываясь на личных читательских впечатлениях (это отражено и в заглавии). Отправной точкой размышлений становится вопрос: «Каков он, если <...> представить себе, что нет ему памятника, что это не кумир, а живой поэт, 150 лет назад родившийся?» [4: 260]. Зайцев создает цельный, импрессионистический образ поэта, воспроизводит его «облик»: «Пушкин не был ни мистиком, ни мечтателем, наоборот, это страстно-жизненная натура, но в искусстве своем обладал он волшебством одухотворения, “поднятия” и просветления (а значит, было это и в нем самом)» [4: 260].

В статьях Зайцева о Пушкине присутствуют мотивы, характерные как для символистской критики (мысль о «ренессансном» облике поэта), так и для эмигрантской пушкинистики (утверждение особой роли Пушкина как знамени объединения национальной культуры). Восходящее к философско-эстетической критике рубежа веков восприятие Пушкина как представителя «чистого искусства», «самого ренессансного человека в русской литературе», «полуязычника, полухристианина» прослеживается в статьях Зайцева 1920–1940-х гг.: «Пушкин в нашей душе» (1925), «Памятник Пушкину» (1937), «Победа Пушкина» (1937), «Пушкин. (Перечитывая его)» (1949). В 1960-е годы оно дополняется идеей о христианской подоснове духовного мира поэта. Например, в статье «Три кометы» (1962) Зайцев пишет: «Век христианнейшей литературы открыл поэт как будто аполлиническо-языческого склада. Но было в нем что-то, отравлявшее его язычество. Язычество не знало покаяния, а Пушкин знал» [5: IX, 383].

Переход от символистских оценок к христианским наиболее отчетливо проявился в произведениях Зайцева о Н.В. Гоголе. В мемуарном очерке «Гоголь на Пречистенском» (1931) варьируется идея В.В. Розанова, В.Я. Брюсова и Д.С. Мережковского о «демонической» природе гоголевского дара. С середины 1930-х годов (вероят-

но, после знакомства с книгой К.В. Мочульского «Духовный путь Гоголя», 1934) Зайцев преодолевает символистское понимание этого писателя как носителя «трагического и дьявольского» начала [5: IX, 303] и начинает искать в его творчестве проявления религиозности. Зайцев увидел источник трагизма судьбы Гоголя в том, что, встав на путь духовной жизни, писатель не перешел к духовной прозе, а продолжал создавать сатирические произведения.

Особо значимой для понимания жанровой системы Зайцева является статья «Жизнь с Гоголем» (1935). В ней не только обозначена эволюция личного отношения автора к Гоголю, но и описан путь к жанру художественной биографии: через несколько «кругов чтения» – к изучению биографических фактов и осмыслению жизни и творчества писателя в единстве. Автор прямо говорит о Гоголе: «Чтобы дать его образ, надо написать его жизнь – постараться пройти за ним внешний и внутренний его путь» [5: IX, 144].

В интерпретации творчества И.С. Тургенева – одного из самых любимых писателей Зайцева – также прослеживается влияние символистов. Помимо биографии писателя, Зайцев создал восемнадцать статей о нем (1918–1968). Часть из них можно назвать «этюдами к жизнеописанию»: это «Тургенев в Париже» (1929), «Тургенев на Съезжей» (1930), «Смерть Тургенева» (1931), «Тургенев и его мать» (1944), «Потомство Тургенева» (1952), «Судьба Тургенева» (1958). Другая группа содержит интерпретацию отдельных произведений или художественного мира писателя в целом: «О Тургеневе» (1918), «Тургенев и Моруа» (1930), «Новый Тургенев» (1931), «Тургенев и “Отцы и дети”», «Столетие “Записок охотника”» (1952), «Перечитывая Тургенева» (1957) и др.

В самом раннем произведении-силузете «О Тургеневе» (1918) Зайцев дает обобщенную характеристику личности и творчеству писателя, прибегая к импрессионистическим приемам: «Тургенев остался и остается в первом ряду нашей литературы как образ спокойствия и меланхолии, созерцательного равновесия и меры, без сильных страстей, облик благосклонный и радующий – изяществом, глубокой воспитанностью духовной; женственный и как бы туманный» [5: IX, 30–31]. Уже в данном произведении были обозначены основные тезисы зайцевской концепции творчества этого русского классика, впоследствии положенные в основу его жизнеописания. Это восходящее к идеям Д.С. Мережковского разделение наследия Тургенева на два неравноценных пласта: «общественного» (романного) и лирико-философского (повести, стихотворения в прозе), интерес к теме любви, утверждение о скрытом мистицизме писателя и попытка охарактеризовать его религиозные настроения. В соответствии с этим взглядом Зайцев дает оценки конкретным произведениям Тургенева: несправедливо принижает значение романов, отри-

цает социальную проблематику «Записок охотника», выделяет произведения о любви как лучшие и наиболее ценные. Анализ статей о Тургеневе еще раз подтверждает тезис о том, что литературная критика Зайцева предшествовала его самостоятельному творчеству: в беллетризованной биографии «Жизнь Тургенева» (1931) реализовались идеи, которые первоначально были выражены Зайцевым еще в 1918 г. в жанре литературного силуэта и затем неоднократно повторены в статьях.

Интерес Зайцева к А.П. Чехову проявился еще в 1900-е гг., но свои мысли о его творчестве Зайцев оформил только в эмиграции. В 1920–1960-е гг. писатель опубликовал свыше полутора десятка произведений о Чехове. Среди них – мемуарный очерк «Памяти Чехова» (1931), юбилейные статьи, рецензии на постановки чеховских пьес за рубежом, биография Чехова (1954), отзыв на книгу Л. Шестова о мировоззрении писателя («Творчество из ничего», 1958), эссе о произведениях Чехова: «Поздний Чехов. (В овраге)» (1960), «Дни [Опять Чехов, опять...]» (1963) и др.

Этим разнообразным по жанру произведениям свойственны общие черты, прежде всего, очень личное восприятие Чехова, обусловившее включение в тексты мемуарных и лирических фрагментов.

Трактовка творчества Чехова основана на том, что этот писатель – наследник традиций «золотого века» русской литературы, носитель подлинной народности (в противовес «плебейству» М. Горького и «барству» Тургенева и Толстого). Он противопоставлен ведущим литературным явлениям рубежа веков: с одной стороны, литературе авангарда, с другой стороны – идеологизированному искусству М. Горького и его школы.

Чехов как гуманист и «художник» (без открыто выраженных философских и идейных поисков) близок Тургеневу, но различны религиозные устремления писателей. Если Тургенев, по мнению Зайцева, не обладал подлинной религиозной верой, то в Чехове жило (вопреки его рационализму) неосознанное религиозное чувство, не замеченное большинством читателей. Эта мысль наиболее последовательно выражена в биографии Чехова (1954). Статьи о Чехове – также пример непосредственной связи литературно-критических и художественно-документальных жанров в наследии Зайцева.

Статьи о Л.Н. Толстом и Ф.М. Достоевском отразили увлечение Зайцева литературно-критическими идеями Мережковского, к которым, в частности, восходит противопоставление Толстого и Достоевского как «бездны плоти» и «бездны духа». Значимой для понимания этого противопоставления является статья-параллель «На весах» (1966), где Зайцев дает сравнительную характеристику двух шедевров мировой литературы: романов «Война и мир» и «Братья Карамазовы». Сравнивая двух писателей, Зайцев считал сходными

напряженность их духовных поисков и бунтарство. Но Толстому присуще бунтарство «сверхчеловека», стремящегося отринуть Бога и церковь, а Достоевскому – христианский бунт против зла, сопряженный с глубокой верой в Промысел. Ставя Толстого выше по художественному мастерству, Зайцев утверждал, что Достоевский превосходит его по глубине духовных прозрений. Писатели взаимно дополняют друг друга, художественно отражая разные грани бытия.

Таким образом, жанр литературно-критической статьи занимает важное место в жанровой системе творчества Зайцева. В статьях о русских писателях XIX в. не только даны оценки конкретных фактов литературного процесса, но также нашли отражение принципы работы Зайцева с художественными и документальными текстами, которые он использовал в биографиях писателей. Ступенью в движении Зайцева от литературной критики к жанру беллетризованной биографии является биографический очерк.

К биографическим очеркам относятся три произведения Зайцева: «Данте и его поэма» (1922), «Тютчев. Жизнь и судьба» (1949), «О Лескове» (1931). Несмотря на немногочисленность, они обладают определенной структурой, позволяющей говорить о специфике данного жанра в критике писателя.

Обращение Зайцева к жанру биографического очерка закономерно: он был убежден в непосредственной связи личности и творчества писателя; его интересовал внутренний мир индивидуальности («облик»), который определялся фактами биографии («жизнью») и, в свою очередь, влиял на биографию, превращая жизнь в «судьбу». «Облик», «жизнь» и «судьба» писателя – ключевые понятия в литературной критике Зайцева.

Специфика биографических очерков и их отличие от статьи или силуэта заключается в следующем: 1) при создании биографического очерка автор обращается к книжным источникам для сбора фактов биографии; 2) биографический очерк содержит характеристику всей жизни писателя – от рождения до смерти, а также обзор творческого пути в хронологической последовательности; 3) выделение этапов в жизни и творчестве писателя отражается, как правило, в композиционном членении очерка на главы.

В очерке «Данте и его поэма» Зайцев впервые применил прием реконструкции (термин Л.Д. Ржевского), который впоследствии использовал в беллетризованных биографиях. Например, воспроизводя факты по печатным источникам, он мог выражать свои предположения при помощи вопросов или модальных слов: «Знаем, что он [Данте] не был богат, *вероятно*, происходил из среднего дворянства и обладал познаниями в медицине, *быть может*, применял их» (*выделено мной – А.Г.*) [5: VIII, 479]. Опираясь на известные жизнеописания Данте и комментарии к «Божественной Комедии» (Скар-

таццини, Витте, Анонимо Фиорентино, Дж. Боккаччо, Ф.Х. Крауса), Зайцев сталкивал мнения различных авторов и присоединялся к наиболее убедительным. Таково, например, рассуждение о занятиях Данте в Париже: «Одни считают, что преподавал поэзию и итальянский язык, другие – что сам учился. Краус склоняется к последнему <...> Очень правдоподобно» [5: VIII, 482]. Стремление автора нагляднее воссоздать образ эпохи привело к включению в биографический очерк художественных фрагментов (например, описания средневековой Флоренции). Своеобразие зайцевских биографических очерков состоит в том, что они имеют и познавательное и эстетическое значение и являются мостом между жанрами статьи и биографии, к которой они приближаются по структуре.

В целом литературная критика Зайцева внутренне связана с его художественным творчеством. В ней прямо сформулированы оценки жизненных и литературных явлений, которые обрели эстетическое воплощение в художественных произведениях, что позволяет привлекать литературную критику Зайцева в качестве комментария к его творчеству. Некоторые литературно-критические жанры послужили источником для жанров документально-художественных, имеющих эстетическое значение (в частности, беллетризованной биографии).

#### **Список литературы**

1. Гроссман, Л.П. Жанры литературной критики // Искусство. – М., 1925. – Т. 2. – С. 61–81.
2. Егоров, Б.Ф. О мастерстве литературной критики. Жанры. Композиция. Стилль. – Л., 1980.
3. Зайцев, Б.К. Тургенев и «Отцы и дети» (Послесловие к немецкому изданию романа) // ОГЛМТ. – Ф. 42. – № 17753. – Л.1–14.
4. Зайцев, Б.К. Пушкин (Перечитывая его) // А.С. Пушкин: Pro et contra. – СПб., 1999. – С. 260–263.
5. Зайцев, Б.К. Собр. соч.: в 11 т. – М., 1999–2001.
6. Максимов, Д.Е. Поэзия и проза Ал. Блока. – Л., 1986. – С. 192–250.
7. Мурзина, И.Я. Творчество Ю.И. Айхенвальда в дооктябрьский период: Особенности мировоззрения и литературной критики: автореф. дис. ... канд. филол. наук. – Челябинск, 1995.
8. Перхин, В.В. «Открывать красоты и недостатки...». Литературная критика от рецензии до некролога. Серебряный век. – СПб., 2001.
9. Поляков, М.Я. Поэзия критической мысли. О мастерстве Белинского и некоторых вопросах литературной теории. – М., 1968. – С. 49–62.

УДК 821.161.1.09

**Ф. М. Достоевский и Ю. В. Мамлеев:  
об «изменении лика человеческого»: метафизика превращений**

В статье рассматривается метафизика человеческих превращений в творчестве Ф.М. Достоевского и Ю.В. Мамлеева. Трагическое «изменение лика человеческого», о котором предупреждал Достоевский как результате «безмысленного» существования человека, у Мамлеева происходит в мире религиозного отчаяния, трагического разъединения. Данная трансформация человека представлена мотивом игры чертей. Но глубокой верой в «существование Божие» может спастись человек – это пафос рассказов о чудесном возрождении и пасхальном Преображении.

The article is devoted to the issue concerning metaphysics of human transformation in the works by Dostoevsky F.M. and Mamleev Y.V. Tragic “changes in human face”, which Dostoevsky foresaw as a result of a “senseless” man’s existence, take place in the world of religious despair, tragic separation in the works by Mamleev. Such transformation of man is shown by means of devils’ tricks. However, man can save themselves deeply believing in “God’s existence” – this is the general idea of the stories about miraculous revival and Easter Transfiguration.

*Ключевые слова:* мотив, метафизика, фантастика, деконструкция.

Ю. В. Мамлеева, теоретика и основателя литературно-философской школы и направления, получившего название «метафизический реализм», часто называют «современным Достоевским». Конечно, это метафора, но не без основания возникшая: Мамлеев, как и многие современные авторы, тоже «получил прививку от Достоевского». В сочинениях писателя легко отыскать реминисценции из разных произведений Ф.М. Достоевского – художественных и публицистических. То и дело мелькают у Мамлеева формулы Достоевского, вроде «тварь дрожащая» или «погрузиться в бездну». А начало рассказа «Люди могил» из цикла «Конец века»: «Человек я уже совершенно погибший, даже до иступления. Мира я не понимаю, Бога тоже...» [4: 116] содержит аллюзию на «Записки из подполья», начинающиеся словами: «Я человек больной <...> Я злой человек. Непривлекательный я человек...» [3: V, 99]. Но для нас важны не достоевские «штампы» и цитаты, важен сам принцип использования сюжетных ходов, коллизий и особенно мотивов как важнейших форм выражения авторского сознания у Достоевского и Мамлеева.

В дополнение к замеченным нами ранее пересечениям и точкам схождения художественных миров Достоевского и Мамлеева есть

---

Кандидат филологических наук, доцент, Барнаульский государственный педагогический университет.

основание поговорить о еще одном бесспорном «общем месте» в творчестве писателей – о метафизике человеческих превращений.

В первом январском выпуске «Дневника писателя» за 1976 год, размышляя о «молитве великого Гете», точнее его героя Вертера, Достоевский утверждает, что истинное счастье жизни дарует человеку осознание родства с бесконечностью бытия и «страстная вера» в то, что «вся эта бездна таинственных чудес божиих вовсе не выше его мысли, не выше его сознания, не выше идеала красоты, заключенного в душе его, а, стало быть, равна ему <...> и что за все счастье чувствовать эту великую мысль, открывающую ему: кто он? – он обязан лишь *своему лику человеческому*» [3: XXII, 6]. Но в «русской природе» происходит «ужасно много странного»: самоубийства «без гамлетовских вопросов», т. е. совершающиеся «по дикой неразвитости», в результате «утраты вполне обеспеченными и образованными представителями молодого поколения всякой живой мысли и даже самого “лика человеческого”» и отсутствия веры в вечность, в «будущую жизнь». Это страшное безверие и разочарованность делает существование человека «безмысленным» [3: XXII, 6], провоцирует его самоистребление, потерю *своего лика человеческого*. Позднее эта же мысль выражена в очерке «Приговор» (ДП), где представлена логика самоубийцы, решившего бросить вызов «безжалостной природе».

Иное проявление неверия и «безмыслия» – потуги просвещенного невежества (людей, верящих в спиритизм) – высмеивает Ф.М. Достоевский в январском (1876) же «Дневнике писателя» в фельетоне «Спиритизм. Нечто о чертях. Чрезвычайная хитрость чертей, если это только черти»: «Есть одна такая смешная тема, и, главное, она в моде: это черти, тема о чертях, о спиритизме...» [3: XXII, 32]. Общая ироническая тональность фельетона исключает какой-либо философский мистицизм в настроении Достоевского, считающего спиритизм нечем иным, как проделками чертей. Но размышления о спиритическом сеансе в доме Аксакова 13 февраля 1876 года, в котором участвовал Достоевский и который произвел на него «сильное впечатление» [3: XXII, 127], не только ироничны: писатель делает важные наблюдения, но не мистического, а философско-антропологического характера: «... кто захочет уверовать в спиритизм, того ничем не остановишь <...> а неверующего, если он только вполне не желает поверить, – ничем не соблазнишь» [3: XXII, 127]. Писатель предупреждает, к какой катастрофе может привести «безмыслие» «людей, не верующих в Бога», но которые «верят, однако же, черту с удовольствием и готовностью» [3: XXII, 33]. Он рисует фантастическую картину «царства чертей», «идея их царства – раздор» [3: XXII, 34], вечные усобицы, доводящие «людей до нелепости, до затмения, извращения ума и чувств» [3: XXII, 34], а разда-

вят они человека наконец «камнями, обращенными в хлебы» [3: XXII, 34], т. е. общим благополучием при полной утрате свободы духа, воли и личности, когда исчезнет «человеческий лик» и настанет «скотский образ раба», «образ скотины <...>. И загнило бы человечество; люди покрылись бы язвами и стали кусать языки свои в муках...» [3: XXII, 34]. Эту же мысль проговаривает в 11 книге романа «Братья Карамазовы» черт в беседе с Иваном. «Рассуждение о «царстве чертей» – другой вариант той картины жизни человеческого общества «без бога», какую в «Подростке» рисует Версиков в своей «исповеди» [3: XVIII; 378–379; 3: XVIII, 334–336, 390]. К данной теме Достоевский еще не раз будет обращаться на страницах «Дневника писателя».

Первые же рассказы в цикле Ю. Мамлеева «Конец века» уже представляют собой деконструктивную пародию на очерково-беллетристические сюжеты «Дневника писателя», которые в данном случае, являются, в свете теории деконструкции, «материалом», «метафизической формацией» или «референциальным модусом текста» [2: 58–59].

В открывающем цикл «Конец века» рассказе «Удалой» Ю. Мамлеев использует мотив игры чертей, потери «лика человеческого», чтобы показать общую потребность людей – в данном случае самых заурядных обитателей коммунальной квартиры – в приобщении к «миру иному», трансцендентному: «Хоть бы хорошее что-то прорвалось к нам сюда» [4: 12]. В данном рассказе описывается фантастический случай, аналогичный «чудесам», о которых рассказывали Достоевскому: «пишут мне, например, что молодой человек садится в кресло, поджав ноги, и кресло начинает скакать по комнате, – и это в Петербурге, в столице! <...> Уверяют, что у одной дамы, где-то в губернии, в ее доме столько чертей, что и половины их нет столько даже в хижине дядей Эдди» [3: XXII, 32]. Американцы братья Эдди были широко известны как медиумы [см. 3: XXII, 335].

У Мамлеева в рассказе «Удалой» на глазах оторопелых соседей совершается «ужасно много странного»: чудесные превращения «маленького, юркого человечка» тихого Саши Курьева: «глаза горели мутным огнем <...> исчезает плавное человеческое выражение, горят не только глаза, но и ум. Появляется что-то далекое, призрачно-глухое. И ушки – да, да, ушки быстро шевелятся <...> губа выпятилась, глаз поумнел, но в потустороннем смысле, и волосы на голове – как-то страшно, на глазах присутствующих – стали медленно расти, разбросанные» [4: 14–15]. Он внезапно принимает облик бычка, потом «орангутана», а затем обращается в некое «тихое недоедающее существо» [4: 11]. Затем он выглядывает из своей комнаты как «кривоногое существо с козлиным взглядом и в каких-то лесных, корневых лохмотьях» [4: 12]. В том, что эти метаморфозы

происходят при содействии чертей, не приходится сомневаться, потому что Саша принимает обличья самые характерные при оборотничестве нечистой силы. Создается впечатление, что в Сашу вселился демон: «А ты не черт, Саша? – взвизгнув, спрашивала у него старушка Бычкова» [4: 16–17]. Кстати, по преданиям, демон мог принять любой человеческий облик и «любой человек в принципе мог обернуться демоном» [4: 26]. К тому же Саша, который «прорастая, все каменел и каменел, и душа его была за миллиарды лет до творения мира», получает способность духов в медиумических сеансах спиритов – проникать в иную реальность, видеть ее присутствие внутри каждого обитателя коммунальной квартиры и вещать о ней: «... вы все на моих глазах изменились...» [4, 14]. Самое любопытное и важное в рассказе, на наш взгляд, состоит в реакции окружающих на Сашины метаморфозы. Сначала всех потряс ужас иного восприятия реальности, но вскоре Саша – «герой пустынных превращений» – заразил всех жаждой «космических галлюцинаций». Дьявольскому наваждению оказались подвержены все, отчего начался маленький шабаш (или "дьяволов водевиль"?), бесовские пляски, в которых участвовал даже сошедший с портрета дед, «наполовину невидимый, но хитрый и не забывший мир и по-потустороннему кричал при этом» [4: 16] с битьем посуды и предметов интерьера. Вольно или невольно люди становятся участниками этого "карнавала нежити", бесовской пляски. Но, устав от внезапной душевной / духовной темноты (а ей соответствует и внешний фон: «Внезапно в комнате потемнело. Черты людей как-то стерлись. Все натыкались друг на друга <...> натыкаясь на непонятные вещи, словно это уже были не стулья и столы» [4: 16]), люди испытали острую потребность света: «Света, света, света! – вдруг закричала мертвая Варвара. – Хочу света! <...> *И внезапно Великий Свет возник в сознании всех находящихся в этой комнате* (выделено нами – Р.С.) » [4: 18]. Великий Свет – это, очевидно, свет Бога, Абсолюта, свет христианской истины, всеобщей любви, которую в этой компании исповедует Любочка Розова: «А я всех без различия люблю, кого Творец создал, и всех, кого еще создаст, тоже люблю <...> И всех, всех вас прощу...» [4: 17]. Картинки этого дикого карнавала напоминают ситуацию изгнания бесов, исцеления бесноватых. Великий Свет – символ этого исцеления.

Примечательно, что сам Саша Курьев воспринимает все случившееся с ним не как личное обращение к нечистой силе, а как надличностные импульсы из Вечности: «Я за Творца не ответчик» [4: 18]. Получается, что нечисть выполняет здесь служебную роль, определенную волею Того, кто дает людям Свет, – напомнить человеку, погрязшему в коммунальной бездуховности о существовании Вечности и о том, что он часть Ее.

Второй рассказ в цикле «Конец века» – «Вечерние думы» – может быть рассмотрен как деконструкция знаменитого пасхального очерка Достоевского «Мужик Марей», опубликованного в февральском выпуске «Дневника писателя» 1876 г. Это рассказ о чувстве пасхального просветления, очищения души и духовного возрождения, пережитого писателем на каторге в день светлого праздника, когда мучило его бесчеловечие каторжных, освобожденных от работ, получивших некоторую волю: «Безобразные, гадкие песни, майданы с картежной игрой под нарами, несколько уже избитых до полусмерти каторжных <...> все это, в два дня праздника, до болезни истерзало меня <...> Наконец в сердце моем загорелась злоба» [3: XXII, 46]. Полное отвращение к этому народу выразил поляк

М-цкий: «Je hais ces brigands!»<sup>1</sup>, – проскрежетал он мне вполголоса и прошел мимо» [3: XXII, 46].

А Достоевский погрузился в воспоминания прошлого, и в памяти его возникла сцена из детства – «одно незаметное мгновение», когда он мальчиком девяти лет, гуляя в лесу, был страшно напуган криком: «Волк бежит!» (крик этот померещился ему, оказался галлюцинацией впечатлительного ребенка). Мальчика успокоил пахавший вблизи на поляне мужик Марей, проявивший к нему истинно христианскую любовь и заботу: «Ну, полно же, ну, Христос с тобой, окстись <...> углы губ моих вздрагивали, и, кажется, это особенно его поразило. Он протянул тихонько свой толстый, с черным ногтем, запачканный в земле палец и тихонько дотронулся до вспрыгивавших моих губ. – Ишь ведь, ай, – улыбнулся он мне какою-то материнскою и длинною улыбкой <...> ну, Христос с тобой <...> и он перекрестил меня рукой и сам перекрестился» [3: XXII, 48]. Вспоминая этот эпизод, Достоевский понимал, что в «уединенной встрече», которую «только бог, может, видел сверху», «случилось как бы что-то совсем другое (курсив наш – Р.С.)» [3: XXII, 49] – метафизическое. Неприятно залегшая в душу писателя, она произвела теперь, на каторге, катарсический эффект – чудо пасхального возрождения души: «И вот, когда я сошел с нар и огляделся кругом, помню, я вдруг почувствовал, что могу смотреть на этих несчастных совсем другим взглядом и что вдруг, каким-то чудом, *исчезла совсем всякая ненависть и злоба в сердце моем* (курсив наш – Р. С.). Я пошел, вглядываясь в встречавшиеся лица. Этот бритый и шельмованный мужик с клеймами на лице <...> ведь это тоже, может быть, тот же самый Марей: ведь я же не могу заглянуть в его сердце» [3: XXII, 49]. А, кстати сказать, «несчастный» М-цкий, не получивший и не способный получить «божественных импульсов», остался с переполнявшей его

---

<sup>1</sup> «Я ненавижу этих разбойников!» (франц.)

душу ненавистью. Пасхальное в очерке – не только символ веры в духовное возрождение и перерождение человека, указание на время действия и жанровую разновидность рассказа – это и проявление особого эстетического качества творчества Достоевского, «когда наличие трагического в произведении не подавляет читателя, не лишает его надежды и веры в будущее и торжество идеала» [1: 104–105].

В рассказе Мамлеева «Вечерние думы» персонажи – тоже бандиты, грабители и событие, о котором вспоминает «пожилой убийца и вор с солидным стажем» Михаил Викторович Савельев, также происходит в день Пасхи. Тогда еще молодой и осатанелый Савельев, забравшись в чужую квартиру, сразу убивает топором двух взрослых людей, мужа и жену. «Вдруг из ванны, она в глубине коридора была, мальчик ихний выходит: крошка лет пяти, он еще ничего не видел и не понял, весь беленький, невинный, светлый и нежненький. Смотрит на меня, на дядю, и вдруг говорит: «Христос воскрес!» – и взглянул на меня так ласково, радостно. И правда, Пасха была. Со мной дурно сделалось. В одно мгновение как молния по телу прошла – и я грохнулся на пол без сознания» [4: 21]. У Мамлеева не мужик, (предстающий в облике не благочестивого Марея, а разбойника, душегубца), а малец-несмышлениш произносит спасительное Слово. И слово это тоже обладает возрождающей силой: метафизический «пасхальный анекдот» на всю жизнь запал в душу преступника и привел его, наконец, к покаянию и монастырю. Но на слушателей Михаила Викторовича, профессиональных бандитов из родного города, его исповедально-назидательные воспоминания очищающего воздействия не производят – наоборот, вызывают лишь насмешку над ним и «больно религиозным корытником», как они называют мальчика. А позднее наедине с Михаилом один из трех молодых бандитов, слушавших его исповедь, Геннадий, признается, что именно он и был тем нежненьким мальчиком, ставшим теперь убийцей «с твердой рукой», не смущаемый никакими стопами. И молодого бандита уже ничто не может спасти – он погибает в кровавой разборке: «После гибели душа Геннадия медленно погружалась во все возрастающую черноту, которая стала терзать его изнутри. И он не осознал, что с ним происходит. А в это время Михаил Викторович, стоя на коленях, молил Бога о спасении души Геннадия. И в его уме стоял образ робкого, невинного, светлого мальчика, который прошептал ему из коридора: «Христос воскрес!» [4: 26]. Таким образом, возрождению-просветлению, описанному Достоевским, Мамлеев противопоставляет два противоположных превращения.

Деконструкция достоевского мотива – свидетельство того, что Мамлеев воспринимает земную реальность жестче, чем Достоевский: склонности к изображению идиллии на земле он не испытыва-

ет. Трагическое «изменение лика человеческого», о котором предупреждал Достоевский, как результате «безмысленного» существования человека «без Бога», у Мамлеева происходит в мире религиозного отчаяния, трагического разъединения. Но в «подкладке» метафизических прозрений Ф.М. Достоевского и Ю.В. Мамлеева лежит глубокая вера в чудесное Преображение человека.

#### **Список литературы**

1. Алексеев, А.А., Храпова, А.О. Пасхальное // Достоевский: Эстетика и поэтика: сл.-справ. / под ред. Г.К. Щенникова. – Челябинск, 1997. – С. 104–105.
2. Деконструкция / Ильин, И. // Постмодернизм: сл. терминов. – М., 2001. – С. 58–59.
3. Достоевский, Ф.М. Полн. собр. соч.: в 30 т. – Л.: Наука, 1972–1985. – Т. 5.
4. Мамлеев, Ю. Черное зеркало. – М.: Вагриус, 2001.
5. Семькина Р.Н. Достоевский и Мамлеев: к типологии мотивов // Достоевский и современность. Материалы XX Международных Старорусских чтений 2005 года. – Великий Новгород, 2006;
6. Семькина Р.Н. «Кто есть я?»: метафизическая антропология Ю. Мамлеева // Октябрь. – 2007. – №3. – С. 175–181;
7. Семькина Р.Н. О «соприкосновении мирам иным»: Ф.М. Достоевский и Ю.В. Мамлеев: моногр. – Барнаул–Екатеринбург, 2007 и др.

### **«Путевые впечатления» А. А. Фета в контексте его прозы**

В статье рассматриваются генетические связи очерков А.А. Фета «Из-за границы» с его прозой 60–80-х годов XIX века.

The genetic connections of the sketches «From abroad» with the prose of Fet of 60-80-ies of XIX century are considered in the article.

*Ключевые слова:* путевой очерк, повествование, рассказчик, жанр, мемуары.

Очерки А.А. Фета «Из-за границы» были написаны по следам его заграничного путешествия [4: 158] и опубликованы в «Современнике» в 1856–1857 гг. [8]. Отмеченные своеобразием фетовского взгляда на мир, путевые очерки поэта, по мнению современных исследователей, «заметно отличались от всего, созданного в русской литературе ранее в этом жанре. В путевых зарисовках Фета пестрота картин, частая перемена в настроении, в стиле создают атмосферу непредвзятого, сиюминутного и зачастую случайного наблюдения, ценного своей неповторимостью, каким-то особым “личным” отношением и отсутствием того “дидактического” начала, которое Фет активно отвергал» [2: 407].

К сожалению, творческая история этого произведения не изучена, поскольку практически не сохранилось соответствующих документальных свидетельств. Известно лишь одно указание о ходе работы над первым очерком. В письме к Некрасову от 16 (28) июля 1856 г. (из Карлсбада) Фет сообщал: «...я строчу от скуки заметки, и о Берлине почти кончил» [5: I, 524]. На этом основании можно предполагать, что «берлинская» часть данного очерка [11: 7–25] была написана к 16 (28) июля 1856 г.

В письме к Л.Н. Толстому от 16 (28) ноября 1856 г. Тургенев сообщал о том, что Фет, гостивший в начале сентября того же года в Куртавнеле, познакомил его с «подробными путевыми записками, где много детского, – но также много умных и дельных слов – и какая-то трогательно-простодушная искренность впечатлений» [7: III, 43]. Точная дата переезда Фета во Францию неизвестна, подобно тому как неизвестен и срок окончания первого письма «Из-за границы», в котором автор делится впечатлениями от пребывания в Германии. Можно предположить, что в Куртавнеле Фет читал именно

---

\* Кандидат филологических наук, доцент, Саратовский государственный университет.

первое заграничное «письмо», а в ноябре 1856 г. оно уже попало в печать.

Говоря впоследствии о причине, побудившей его поделиться с читателем своими «путевыми впечатлениями» [11: 52], Фет отмечал: «В пятидесятых годах заграничные поездки далеко не были таким легким и будничным делом, в какое они превратились в наши дни. Поэтому очевидцу дотоле невиданного хотелось о нем рассказать, а небывалому – послушать про всякие диковинки» [9: I, 142]. Таким образом поэт констатировал, с одной стороны, внутреннюю потребность в творческом самовыражении, с другой – актуальность своих очерков для середины 50-х годов.

Комментируя письма «из-за границы», И.С. Абрамовская объясняет обращение Фета к этому достаточно традиционному для русской литературы жанру наличием редакторского заказа: «Именно Некрасов <...> обратился к поэту с просьбой написать для журнала ряд очерков. Общественный интерес к такого рода путевым заметкам, или “письмам из-за границы” был в середине 1850-х годов достаточно велик: “заграничные” путевые очерки охотно публиковали в журналах» [2: 393]. И хотя документальных свидетельств обращения Некрасова к Фету с просьбой литературно оформить впечатления от посещения европейских стран, по-видимому, не сохранилось, данное утверждение имеет под собой основание.

Тяга русской литературы к «факту», к «материалу», наметившаяся еще в самом начале 50-х годов XIX в. – «в противовес избитой стилистике и традиционным мотивам “светских повестей”» [13: 81] – сопровождалась расцветом промежуточных, полубеллетристических жанров (к коим относятся и путевые очерки). Поэт пристально следил за происходящим в литературе движением, тонко улавливал ее направление и потребности. На волне общественного запроса на «литературу факта» фетовские путевые заметки действительно приобретали актуальность.

Обращение Фета к жанру путевых очерков в 1856–1857 годах было вполне органично для него, соответствовало его творческим исканиям, его самоопределению как прозаика. Вряд ли писатель стал выполнять чей бы то ни было «заказ», если бы этот «заказ» противоречил его собственной творческой природе. В этом отношении интересен один факт. «Сегодня еду к Каткову, – сообщал Фет И.П. Борису в письме от 17 января (1858), – отдавать ему стихи. Он вчера напирал на меня, чтобы я написал что-либо о *мужике*. Но я отвечал, что не умею управлять вдохновением» [12: 7]. Трудно поверить, чтобы Фет не мог написать «что-либо» на заданную тему. Просто эта тема была чужда его поэзии, а поступать вопреки своим творческим устремлениям он не хотел даже тогда, когда остро нуждался в деньгах или когда вдохновение обходило его стороной.

Написанные по следам недавнего прошлого, основанные на автобиографическом материале, свободные от фабулы и вымышленных лиц, хронологически построенные (в соответствии с маршрутом путешествия), характеризующиеся преобладанием в них описательного компонента, путевые очерки оказались близким Фету жанром, соответствующим манере повествования, которая складывалась в прозе поэта в 50-е годы.

В центре внимания автора очерков – воспроизведение фактов и рассказ о своих впечатлениях от увиденного и пережитого. Фет не стремился к широким общественно-политическим, культурным, искусствоведческим, историческим обобщениям и рассуждениям. Они, если и появлялись, то рождались сами собой, без предварительно поставленной цели. Так, описывая фресковую живопись Каульбаха, Фет предупреждал: «Я не боюсь, если суждение мое о таком важном предмете отделится слишком резко от общего. Я пишу не приговоры, а передаю собственные впечатления, которые стараюсь уяснить и оправдать перед самим собою» [11: 16]. Рассказывая о посещении Лувра, он оговаривался: «Чувствую, что заслужу название профана, но я не брал на себя роли знатока, я говорю о своих впечатлениях при взгляде на то или другое» [11: 75].

Позиция «бесхитростного рассказчика» вовсе не проявление дилетантизма. Культурный контекст фетовских писем поражает и широтой охвата материала, и глубиной проникновения в него, и уровнем искусствоведческой компетентности [1: 89]. Такая установка давала свободу творческого самовыражения, позволяла соединять разнообразные предметы и явления в единую повествовательную ткань.

Настойчиво противопоставляя простого «рассказчика», который делится с читателями сведениями о «виденном и слышанном» [11: 96], иному типу повествователя – «судие», «знатоку», – Фет подчеркивал принципиальную важность для него следования фактам и правдивого ведения рассказа. В этом отношении характерно одно высказывание, касающееся описания архитектуры Нового музея в Берлине: «Пусть решают специалисты, в какой мере он (речь идет об архитекторе К.-Ф. Шинкеле – Л.Ч.) был прав – я пишу не рассуждение об архитектуре, а рассказываю факт» [11: 13].

«Фактов», красноречиво характеризующих литературную, музыкальную, театральную, художественно-изобразительную жизнь Германии и Франции, в очерках Фета великое множество. А если присоединить к ним описание городских ансамблей и пейзажей, улиц, парков, зданий, мостовых, способов передвижения, типов, нравов и т. д., то предстает довольно внушительная картина западноевропейской цивилизации, увиденной глазами Фета. «Минутные впечатления» [11: 52], тщательно фиксируемые писателем, складываются

в оригинальный мозаичный узор. Точность деталей, по мнению автора очерков, – залог верности создаваемого им «общего» полотна.

Фактографическое богатство заграничных писем Фета отчетливо видно в оглавлении к ним, например: «Киль. – La belle France. – Страсбург. – Физиономия города. – Французские солдаты. – Собор. – Смена караула. – Дорога из Страсбурга в Париж. – Таможня. – Физиономия парижских улиц. – Экипажи и внешний блеск. – Общий взгляд на картину Парижа. – Оранские улицы. – Уличные типы. – Парижанки. – Кофейни и их посетители. – Елисейские поля и Café chantant. <...> Тряпичники. – Ручные дикие голуби. – Поездка в Версаль. – Передний фасад дворца; малые и большие воды. – Г-жи Перцова и Зайцева. – Отъезд в Марсель. – Дорога и дижонские туннели. – Охота за утками. – Город Марсель. – Пароход «Капитолий» и южный берег Франции с моря» [11: 552, 553].

Пестрота изображаемого материала обусловила жанровую неоднородность фетовских очерков. Исследователи справедливо относят его «путевые впечатления» к «гибридному» типу жанра литературных путешествий (по классификации Т. Роботи) [6: 48]. «Часть писем, посвященная наблюдениям над нравами немцев и французов, решена в манере нравоописательного очерка. Здесь живые зарисовки уличных сценок, диалоги, непринужденно вводимые в повествовательную ткань. В соответствии с традицией физиологического очерка дается портрет парижского тряпичника. Вполне в духе сентиментальных путешествий в текст писем вводится новелла о разлученных любовниках <...>. Очерк культурной жизни содержат письма, где Фет рассуждает об искусстве, о театральной жизни, здесь его стиль приобретает черты критической, полемической по своему пафосу статьи» и пр. [2: 397].

Разнородность вводимого в повествовательную структуру материала потребовала сочетания разных способов повествования. Часть очерков написана в форме сиюминутных «записок» или «заметок», в которых фиксируются «путевые впечатления» автора. Например: «Мы как раз попали на представление. Боже мой! опять то же самое. Можно помириться с тем, что у актрисы нет ни малейшего таланта: это бы еще не беда; но зачем она так безобразно причесалась, зачем так адски кривляется и приподымается на цыпочки, находя, вероятно, что в мире нет ничего грациознее ее?» [11: 22]. Повышенная экспрессивность авторской речи имитирует живую разговорную интонацию, усиливает воздействие на читателя.

«Общий принцип повествования о музейных экспозициях, – отмечает И.С. Абрамовская, – Фет выступает в роли экскурсовода, повторяя фразы-клише: “посмотрите на эти группы”, “пойдемте дальше”, “остановимся перед...” и т. п.» [2: 398]. Постоянная апелляция к читателю (знакомая по рассказу «Каленик») создает иллю-

зию сиюминутности происходящего, усиливает эффект достоверности.

Другая часть очерков написана в форме воспоминаний, причем одни из них менее удалены во времени, другие – более. Иногда оба эти временных пласта совмещаются, накладываются друг на друга, полнее выражая всю гамму охвативших автора ощущений: «Боже мой! неужели это Франкфурт, стоявший таким корифеем в моем воспоминании? Мне было двадцать два года, когда я видел его в первый раз. Не оттого ли показался он мне таким блестящим, громадным? Как он съежился, точно модель того Франкфурта, который жил в моем воображении до настоящей минуты. Да не может быть! Неужели это Цейле (главная улица)? Дома, магазины, гостиницы, – да все не то. Это даже не Берлин, а уж далеко не Лейпциг, не Дрезден. Там есть свой особенный характер, своя физиономия, а это ново, чисто, и только. Жаль: еще одной иллюзией меньше! Даже досадно!» [11: 53].

Фет настойчиво подчеркивает мемуарный характер своих очерков: «возвращаясь воспоминанием к виденному» [11: 31]; «Пусть эта светлая тайна вечно сияет <...> в моем воспоминании» [11: 34]; «Не буду никому, даже самому себе, досаждать воспоминаниями о Марселе как городе» [11: 117]; «Помню, я перешагнул заветный порог без всякого волнения» [11: 33] и т. д.

Отдельные страницы «путевых впечатлений» Фета представляют собой именно воспоминания в точном смысле этого слова: они основаны на ретроспекции и наполнены автобиографическими подробностями. Такой характер имеет рассказ о встрече в Карлсбаде с сестрой Надей. Все перипетии этой встречи переданы с возможной тщательностью: «Недели две тому назад, воротившись в шесть часов вечера с прогулки, застаю у себя на столе пакет. Что такое? Телеграфическая депеша: “Я во Франценсбаде. Если можешь, приезжай немедля, или я к тебе приеду. Решайся. Жду ответа у телеграфа. N.N.”. Встретиться с человеком близким и на родине отрадно, а неожиданное свидание на чужбине – счастье. Я стремглав побежал на гору к телеграфу <...>» [11: 44]. Автор подробно рассказывает о своей поездке во Франценсбад и обратно в Карлсбад, о долгожданной встрече с сестрой, продолжавшейся около десяти дней, и ее проводах. Внутри этого рассказа помещено другое воспоминание – о посещении Карлсбада его величеством королем прусским и об обеде, данном в его честь королем Оттоном [11: 46].

Любопытно, что рассказ о встрече с Н.А. Шеншиной в Карлсбаде почти дословно будет воспроизведен позднее в книге «Мои воспоминания» [9: I, 143–144]. Он расширится и дополнится сведениями, касающимися личной жизни Нади, подробностями ее любовной драмы с Эрдманом [9: I, 145–147]. При этом описание собствен-

но «путевых впечатлений» останется вне поля зрения автора, объяснившего это следующим образом: «Но в настоящую минуту я пересматриваю этапы моей духовной жизни – то, что случилось в известном виде для меня, а не то, что, как страна или город, пребывает и поныне открыто для всякого наблюдателя. Поэтому не считаю нужным говорить о моих местных и путевых впечатлениях» [9: I, 147].

В состав третьего письма «Из-за границы», иллюстрирующего французские страницы жизни Фета, вошли воспоминания о поездке в Куртавнель по приглашению И.С. Тургенева [11: 101–107]. Автор вводит в текст путевых заметок реальный фрагмент из письма Тургенева, подчеркивая тем самым документальную основу своего произведения, предваряя обширную публикацию писем современников, которую он предпринял позднее в книге «Мои воспоминания». Этот фрагмент, с небольшими разночтениями, тоже будет включен в мемуары Фета [9: I, 149].

Фрагмент о пребывании Фета в Куртавнеле, подобно рассказу о его встрече в Карлсбаде с Надей, впоследствии целиком повторился в книге «Мои воспоминания». Это стало возможно, потому что оба названных фрагмента написаны в соответствии с каноном воспоминаний (как его понимал Фет): в них предстают значимые для жизни автора люди, рисуются события и обстоятельства, повлиявшие на его или их судьбы. На склоне лет вернувшись к этим сюжетам из прошлой жизни, Фет обогатил их новыми деталями, подробностями интимного характера (например, отношения Тургенева с дочерью), рассказал о своих спорах с Тургеневым и пр. Все эти позднейшие добавления, естественные для фетовских воспоминаний, были неуместны в жанре путевых заметок.

Стало быть, Фет разграничивал назначение путевых очерков и воспоминаний, отчетливо сознавал специфику каждого из этих жанров. Путевые очерки, по словам писателя, должны изображать «встречавшиеся картины» [9: I, 142], в то время как мемуары призваны рисовать «лица, посланные судьбою в русло моей жизни, без которых самая прожитая жизнь невозможна и даже невысказима, как невысказим сад без деревьев» [9: I, 142]. Вот почему Фет-мемуарист не стал описывать в воспоминаниях тех «чудес благоустройства и художественных красот» [9: I, 142], которые открылись ему в Европе в 1856–1857 годах. Об этих «чудесах» он рассказал в заграничных очерках. В свою очередь заграничные очерки были преимущественно посвящены описанию «путевых впечатлений». Эти два вида фетовской прозы в силу их автобиографического характера взаимно дополняют друг друга.

Включение мемуарного пласта в путевые очерки – весьма характерный момент для фетовской прозы пятидесятых годов. Мему-

арная составляющая пронизывала повествовательные сочинения начинающего прозаика: рассказ «Каленик», повесть «Дядюшка и двоюродный братец». К прошлому биографическому опыту Фет обратился даже при написании первой критической статьи «О стихотворениях Ф. Тютчева» (1859). Ее посвящение другу студенческих лет Аполлону Григорьеву – не технический прием и не дань моде. Оно имеет «содержательное» наполнение: отсылает к общей университетской молодости, к совместному проживанию в доме на Малой Полянке, к взаимному влиянию друг на друга, которое Фет впоследствии сравнивал с «точением одного ножа о другой, хотя со временем лезвия их получают совершенно различное значение» [10: 151]. Обращение в критической статье к Ап. Григорьеву – знак принадлежности к определенной «эстетической школе» – позволяло высказываться без лишних пояснений. Конкретный биографический материал подспудно входил в критическую прозу Фета, становясь ее необходимым структурным компонентом.

Автор выступает в путевых заметках как рассказчик, «личный повествователь». Биографические реалии отчетливо видны, например, когда писатель проявляет интерес к учению прусской кавалерии и наблюдает за гвардейскими кирасирами [11: 22–25], когда местные пейзажи вызывают в его памяти новороссийские степи [11: 28], когда он говорит о преимуществах «чистого искусства» перед «преднамеренным», основанным на «холоде, дидактике и безвкусице» [11: 16], когда он рассказывает о встрече за границей с родной сестрой и друзьями-писателями.

«Простой зритель» [11: 31] и «скромный <...> рассказчик» [11: 96] путевых впечатлений, автор делится с читателем увиденным и услышанным, при этом не претендует на универсальность своих выводов и рассуждений. Такая манера повествования позднее обусловила специфику мемуаров Фета: в них нет ни описания нравов, ни характеристики умонастроения поколения, к которому принадлежал поэт, ни анализа своеобразия общественного и литературного развития России в изображаемую им эпоху. Фет воссоздавал картину собственной жизни и жизни своего литературного окружения – Л.Н. Толстого, И.С. Тургенева, В.П. Боткина и др., предоставляя читателю многочисленные факты, зарисовки, документальные свидетельства, письма современников.

Мемуарист подчеркивал, что пишет не роман, не дневник, что он не «философствует», а «перелистывает страницы» прожитой жизни и «рассказывает». Эта позиция впервые обнаружилась в заграничных очерках Фета, а затем многократно декларировалась по ходу воспоминаний: «не буду рассуждать, а стану рассказывать»; «моя задача – рассказывать о виденном» [9: I, 14, 133]; «Рассказывая о событиях моей жизни, я до сих пор руководствовался мыслью,

что только правда может быть интересной как для пишущего, так и для читающего» [10: 543].

Приоритет «правды» и «факта» оказался жанрообразующим принципом и в «деревенских» очерках Фета, преемственно связанных с его «путевыми впечатлениями». Написанные им в шестидесятые годы публицистические статьи сохранили жанровые признаки очерковой литературы: наличие документальной основы, точно воспроизводящей реальные факты и события, связь эпизодов при помощи внешней, причинно-временной последовательности, высокая доля описательного изображения и др.

Таким образом, в очерках «Из-за границы» складывался тот способ повествования, который впоследствии получил развитие в прозаическом творчестве Фета 60–80-х годов, особенно в «деревенских» очерках и мемуаристике.

### Список литературы

1. Абрамовская, И.С. Очерки Фета «Из-за границы»: к истории полемики с «натуральной школой» // XVIII Фетовские чтения: Афанасий Фет и русская литература / под ред. М.В. Строганова, Н.З. Коковиной. – Курск: Изд-во Курск. гос. ун-та, 2004. – С. 88–96.
2. Абрамовская, И.С. Очерки Фета и традиция «литературного путешествия» / А.А. Фет // Соч. и письма: в 20 т. – СПб.: Фолио-Пресс-Атон, 2007. – Т. 4. Очерки: Из-за границы. Из деревни.
3. Абрамовская, И.С. Странствующий домосед, или Фет-путешественник // Афанасий Фет и русская литература: XX Фетовские чтения / под ред. Н.З. Коковиной, М.В. Строганова. – Курск: Курск. гос. ун-т, 2005. – С. 58–66.
4. Блок, Г.П. Летопись жизни А.А. Фета / публикация Б.Я. Бухштаба // А.А. Фет. Традиции и проблемы изучения. – Курск: Изд-во Курск. гос. пед. ин-та, 1985. – С. 129–182.
5. Переписка Н.А. Некрасова: в 2 т. / вступ. статья Г.В. Краснова; сост. и коммент. В.А. Викторovichа, Г.В. Краснова, Н.М. Фортунатова. – М.: Худ. лит-ра, 1987.
6. Робли, Т. Литература «путешествий» // Русская проза. – Л., 1926. – С. 48.
7. Тургенев И.С. Полное собрание сочинений и писем: в 28 т. – М.;Л.: Изд-во АН СССР, 1961–1968.
8. Фет, А. Из-за границы. Путевые впечатления // Современник. – 1856. – № 11. – С. 71–117; Современник. – 1857. – № 2. – С. 237–271; Современник. – 1857. – № 8. – С. 81–128.
9. Фет, А.А. Мои воспоминания: в 2 ч. – М.: Типография А.И. Мамонтова и К°, 1890.
10. Фет, А.А. Ранние годы моей жизни. – М.: Товарищество типографии А.И. Мамонтова, 1893.
11. Фет, А.А. Сочинения и письма: в 20 т. – СПб.: Фолио-Пресс – Атон, 2007. – Т. 4. Очерки: Из-за границы. Из деревни.
12. Фет-Шеншин, А.А. Письма к Борисовым И.П. и Н.А. 1857–1871 // ОР РГБ. Фонд 315. – Оп. II. – Картон 2. – Ед. хр. 30. – Л. 7.
13. Эйхенбаум, Б. Лев Толстой. Книга первая. 50-ые годы. – Л.: Прибой, 1928.

## **Герои тургеневских романов в аспекте христианской морали**

В статье исследуется влияние христианских традиций на романы Тургенева. Писатель, безусловно, не принадлежал к числу религиозных натур. Но он был рождён и воспитан в ту эпоху, когда церковь играла значительную роль даже для европейски образованного дворянина. Провозглашаемые ею нравственные ценности часто осваивались уже на подсознательном уровне. Это свойственно как самому писателю, в чьих романах отчётливо ощутим христианский импульс, так и многим его героям, которые хотят посвятить свою жизнь высокой цели. Вместе с тем подмена религиозного идеала светским иногда открывает путь для проникновения зла в человеческую душу. Тургенев отмечает эту опасность, в какой-то мере сближаясь здесь с Достоевским.

Особое внимание в статье уделяется роману «Дворянское гнездо». Он создавался тогда, когда Тургенев не только интуитивно, но вполне сознательно приближался к постижению внутренней жизни христианина. Писатель понимал значение веры и хотел её обрести. Это стремление, объединённое с даром художника проникать в глубинную суть явлений, позволило Тургеневу, пусть не в полной мере, передать в одном из своих вершинных творений духовный мир православия.

The article researches the impact of Christian traditions on Turgenev's prose. The writer was not a religious adherent. But he was born and brought up in the time, when the Church played a significant role even in the life of a well-educated nobleman, and the perception of the religious morals was a subconscious process. At the same time, substitution of the religious ideals for the secular ideals might let evil into the human soul, and such writes as Turgenev and Dostoyevsky saw this danger.

In the article special attention is paid to the novel «Dvorynskoe Gnezdo», in which Turgenev revealed his understanding of the inner life of a Christian. The writer realized the significance of the faith and wanted to find it. Both this aspiration and the artist's gift to see into the depth of the phenomena allowed Turgenev to show the spiritual world of Christianiti.

*Ключевые слова:* И.С. Тургенев, христианство, гуманизм.

В современном литературоведении есть тенденция к строгому разграничению христианских и гуманистических идеалов. Безусловно, в науке такая чёткость необходима, но в обычной жизни её нет. Убеждённый атеист вполне может в критической ситуации обратиться с мольбой к Богу, а верующий испытать сомнения и колебания. Нечто подобное происходит и в искусстве. По крайней мере в рус-

---

\* Кандидат филологических наук, доцент, Орловский государственный университет.

ской литературе девятнадцатого века теоцентрические и антропоцентрические представления вполне могли совмещаться в пределах одного и того же художественного сознания. Православные истины воспринимались ещё с детства, а гуманистические представления в той или иной степени неизбежно усваивались каждым образованным человеком. Конечно, попадая в иную систему мировоззренческих координат, христианские понятия во многом переосмысливались. Но не исключено было и обратное воздействие, когда христианские традиции заметно меняли систему нравственных ценностей у гуманиста. Именно это можно наблюдать в творчестве Тургенева.

Как известно, на духовное формирование писателя глубокое влияние оказал романтический идеализм 30–40-х годов. Молодёжь, группировавшаяся вокруг Н.В. Станкевича, была убеждена, что человек, конечно, не чужд физических потребностей, но всё натуральное в нём должно быть согласовано с духом. Подобный пантеизм в дальнейшем своём развитии мог привести как к материализму, так и к религиозному осмыслению жизни. Особенностью же тургеневского мировоззрения в дальнейшем будет постоянное колебание между атеизмом и поиском веры. Следует согласиться с Г.Б. Курляндской, которая пишет: «Тургенев не мог удовлетвориться пантеистическим решением проблемы соотношения личного и общего, идеей растворения личности в духовно-природном, её поглощения всеобщим. Своим признанием неповторимой духовной ценности, уникальности человеческой личности, располагающей даром внутренней свободы, как своей глубочайшей сущностью, Тургенев, несомненно, выходил за пределы пантеизма, отрицающего божественное бытие вне мира. Этим самым Тургенев сделал шаг в сторону христианского вероучения» [5: 17–18].

Конечно, религиозные мотивы в творчестве Тургенева нельзя рассматривать вне контекста его гуманистических исканий. Но можно сказать, что на страницах его романов представлены две системы нравственных ценностей: гуманистическая и христианская. И ему удаётся достичь между ними, пусть достаточно хрупкого, но всё же несомненного синтеза. Главную роль здесь играет идея долга. Не следует забывать, что с гуманистическими идеалами связан не только призыв к свободе разума, к свободе чувств, но и требование нравственной ответственности человека.

Для Тургенева одним из самых дорогих, самых заветных было понятие цивилизации. А подлинная цивилизация всегда предполагает культуру чувств, культуру человеческих отношений, способность человека контролировать своё поведение, подчинять его высоким нравственным принципам. Человека можно воспитывать, был убеждён писатель. «У нас нет идеала – вот от чего всё это происходит: а идеал даётся только сильным гражданским бытом, искусством

(или наукой) и религией», – утверждал Тургенев в одном из писем [9: X., 2, 366]. Очень характерно, что сильный гражданский быт, то есть традиции, не противопоставляются здесь доводам разума, а наука в своём благотворном воздействии на человека, согласно представлениям писателя, не враждебна религии.

Следует отметить ещё одну характерную особенность мировоззрения и творчества писателя. Безусловно, что Тургенев всё же не принадлежал к числу религиозно настроенных натур. Но, как верно указывает А.В. Чернов, христианское мироощущение к девятнадцатому веку «оказывается усвоенным сознанием русского человека настолько, что начинает уже «работать» и на подсознательном уровне. Христианские мотивы, их комбинации переходят на уровень архетипов, то есть наделяются свойством вездесущности, приобретают характер устойчивых психических схем, бессознательно воспроизводимых и обретающих содержание в художественном творчестве» [10: 152].

Вспомним, как в романе «Рудин» описывается кружок Покорского, те чувства и переживания, которые объединяли его участников. В личности основателя кружка несомненны какие-то очень важные черты христианского идеала: «Это была высокая, чистая душа... Его все любили, он привлекал к себе сердца...» [9: 6, 296]. Покорский, с огромной силой воздействующий на сердца окружающих, чем-то предвещает «положительно прекрасного человека», образ которого затем будет волновать Достоевского. Очень характерны те чувства, которые испытывает один из последователей своего учителя: «...попав в кружок Покорского, я ... совсем переродился: смирился, расспрашивал, учился, радовался, благоговел – одним словом, точно в храм какой вступил» [9: 6, 299]. У него появляются такие слова, как «смирился», «радовался», «благоговел», «в храм вступил». Ассоциации возникают вполне религиозные. И то же самое происходит, когда описываются речи, звучащие в кружке Покорского: «Слушая Рудина, нам впервые показалось, что мы наконец схватили её, эту общую связь, что поднялась наконец завеса! ... стройный порядок водворялся во всём, что мы знали, всё разбросанное вдруг соединялось, складывалось, вырастало перед нами, точно здание, всё светлело, дух веял всюду... Ничего не оставалось бессмысленным, случайным; во всём высказывалась разумная необходимость и красота, всё получало значение ясное и, в то же время, таинственное, каждое отдельное явление жизни звучало аккордом, и мы сами, с каким-то священным ужасом благоговения, с сладким сердечным трепетом, чувствовали себя как бы живыми сосудами вечной истины, орудиями её, призванными к чему-то великому...» [9: 6, 298]. В кружке Покорского рассуждали о философии, искусстве и науке, но воспринималось всё это во многом на религиозном уровне. Ха-

рактен сам стиль повествования: «всё светлело, дух веял всюду», «таинственное», «священным ужасом благоговения», «вечной истины» и т. д. Ученики Покорского ощущают себя как люди верующие, как люди, входящие в храм. Когда читаешь подобные страницы тургеневского романа, явственно осознаёшь христианские корни русской литературы.

Думается, что именно от христианства Тургенев воспринял представление о той особой роли, которую страдание может оказать на духовное развитие личности. С религиозной точки зрения в страданиях есть своя ценность, и заключается она в том, что страдания разрушают самодовольство. Как пишет М. Тареев, «страдание есть выражение униженности: кто страдает, тот опытно узнаёт немощь своей природы, получает истинное понятие о своём ничтожестве, а вместе о могуществе и благодати Божией. В той степени, в какой важно смирение, и злострадания имеют объективное значение» [8: 176]. Не все герои Тургенева приходят к признанию Бога, но каждого из них страдание ведёт к смирению, а смирение, как правило, преображает их в лучшую сторону. Под влиянием перенесённых невзгод, испытаний и неудач Рудин избавляется от самовлюблённости, тщеславия и позёрства, к которым он так был склонен ранее. Во время его последней встречи с Лежневым перед нами предстаёт человек простой, искренний и вместе с тем самоотверженный, до конца преданный своему идеалу. Страданием и смирением на исключительную нравственную высоту поднимаются герои «Дворянского гнезда». И даже нигилист Базаров испытывает благотворную перемену. Она заключается в том, что ему приходится не только страдать. Ему приходится постоянно смиряться: смиряться с тем, что Одинцова его не любит; с тем, что его ждёт смерть; с тем, что он не нужен России. Но именно смирение (хотя это слово и не вяжется с Базаровым) делает его лучше, добрее, человечнее.

Конечно, нельзя забывать, что такие понятия, как страдание и смирение, могут иметь разные смыслы, разные значения. И смирение Рудина или Базарова, конечно, не вполне соответствуют к высшей христианской добродетели. Это, скорее, философское осмысление ограниченности человеческой природы и разума. Однако оно соприкасается с важнейшими истинами христианского учения.

Для мировоззрения Тургенева характерен отказ от того постулата гуманистической культуры, согласно которому главный смысл человеческой жизни заключается в стремлении к счастью. Много раз цитировались строчки из его письма к Е.Е. Ламберт: «...жизнь в своё удовольствие давно кончилась для меня – и надо теперь приучиться к настоящему жертвованию собой – не к тому, о котором мы так много говорим в молодости и которое представляется нам в образе любви, то есть всё-таки наслаждения – а к тому, которое ни-

чего не даёт личности, кроме разве чувства исполненного долга, и заметьте – чувства чужого и холодного, без всякой примеси восторженности или увлечения» [9: 1, 4, 133]. Конечно, нельзя не видеть, что в словах Тургенева отразилось то состояние души, когда вера в Бога уже утрачена. Но осталось стремление служить высокой цели. Подобное стремление как у самого писателя, так и у его героев имеет православные корни, оно порождено соответствующим воспитанием, соответствующими традициями.

Весьма характерно, как, например, изображается Елена Стахова. Описывая детство своей героини, писатель подробно рассказывает о её дружбе с нищенкой Катей: «Елена возвращалась домой и долго потом думала о нищих, о божьей воле; думала о том, как она вырежет себе ореховую палку, и сумку наденет, и убежит с Катей, как она будет скитаться по дорогам в венке из васильков» [9: 8, 34]. Здесь не только пример того, как на обычные полудетские фантазии и мечты накладываются житейные сюжеты, житейные образы, несомненно, хорошо известные Елене. Но здесь ещё и очень тонко схвачен писателем зародыш того странного, может быть, болезненного стремления, которое побуждало людей к отказу от своего привлекательного положения, побуждало к страданию, к унижению и всему тому, что никак не понятно просветительскому рассудку, но что находит своё наиболее адекватное выражение в религиозном чувстве.

По натуре, по характеру Елена принадлежит к такому типу личности, которому чужд мир обычной, обыденной жизни. Тургенев пишет: «Её душа и разгоралась и погасала одиноко, она билась, как птица в клетке, а клетки не было: никто не стеснял её, никто не удерживал, а она рвалась и томилась» [9: 8, 35]. С просветительской точки зрения такие переживания объяснить трудно. Одно дело, когда человека пытаются подчинить каким-то неразумным законам, когда подавляют его естественные чувства, а властные требования природы побуждают личность вступить в борьбу за свои права. Но здесь ничего этого нет. И нет здесь романтической жажды самоутверждения или мечты о какой-то иной действительности. Зато переживания Елены можно понять, если судить о человеке с христианской точки зрения. Её душа стремится к Богу. И пока она не нашла своей веры, всё окружающее кажется Елене «бессмысленным и непонятым» [9: 8, 35]. Ей хочется жертвенного служения, хотя ей кажется, что это обычная жажда любви. «Как жить без любви, а любить некого!» – думала она, и страшно становилось ей от этих дум, от этих ощущений» [9: 8, 35]. Тургенев как раз показывает, что в окружении Елены есть замечательные люди. Но в том-то и дело, что обычная любовь не нужна его героине.

Конечно, не надо преувеличивать роль христианской традиции в этом тургеневском романе. На первом плане у писателя даётся изображение вполне земных чувств. Он расскажет, как Елена встретит Инсарова, как полюбит его, как придётся им бороться за своё счастье. Всё это вполне соответствует гуманистической системе нравственных ценностей. Но есть и другой смысл в романе. Ведь Инсарова Елена любила прежде всего потому, что он смог приобщить её к великой цели. Он сделал её участницей борьбы за освобождение Болгарии и тем самым дал ей ту веру, о которой она мечтала. В этой вере заключён христианский порыв, хотя направлен он уже не к религиозной цели. Вполне справедливо писал о людях той эпохи Н.А. Бердяев, указывая, что «в молодёжи пробудилась жажда социальной правды, которая была в ней порождением христианства, получившего новую форму» [1: 40]. В романе «Накануне» речь, правда, идёт не о социальном, а о национальном освобождении, и всё же главная суть его в том, что это роман о поисках веры.

Но тут встаёт иная проблема. Если духовные порывы Елены имеют религиозную основу, то Бога она явно утратила. Это, конечно, спорное утверждение, так как писатель не раз упоминает, что Елена Стахова молится, ходит в церковь. Тем не менее чувствуется, что внутренняя жизнь Елены, её духовные искания совершаются вне сферы её религиозных представлений. Уместно будет вспомнить те страницы романа, где описывается беседа товарищей Елены, близких ей по своему мировоззрению. Художник Шубин мечтает о счастье. А его друг Берсенев возражает: «Но такое ли это слово «счастье», которое соединило, воспламенило бы нас обоих, заставило бы нас подать друг другу руки? <...>

- А ты знаешь такие слова, которые соединяют?<...>
- Да хоть бы искусство – так как ты художник – родина, наука, свобода, справедливость» [9: 8, 14].

Характерно, что, называя многое, молодой историк забывает сказать о религии. И это не случайно. Под знаком такой замены развивается содержание многих романов Тургенева. Например, в салоне Ласунской звучит речь Рудина: «Иной слушатель, пожалуй, и не понимал в точности, о чём шла речь; но грудь его высоко поднималась, какие-то завесы разверзались перед его глазами, что-то лучезарное загоралось впереди» [9: 6, 269]. Так можно говорить о Боге, но у Рудина речь идёт «о значении просвещения и науки, об университетах и жизни университетской вообще» [9: 6, 269]. Может быть, поэтому слушатели и не понимают «в точности, о чём шла речь» [9: 6, 269]. Одна из главных проблем тургеневского героя в том и заключается, что он зовёт людей и сам устремляется к какому-то высокому идеалу, но к какому именно, он сам точно не знает. Нечто аналогичное происходит и с Еленой Стаховой. Она размышляет:

«О, если бы кто-нибудь мне сказал: вот что ты должна делать! Быть доброю – этого мало; делать добро ... да; это главное в жизни. Но как делать добро?» [9: 8, 80]. Вообще-то в церкви можно найти очень подробный ответ на этот вопрос. Но Елена даже не пытается обратиться за советом к священнику, не пытается читать книги духовного содержания. Вера в Бога никак не связана с её высшими нравственными потребностями. Она ищет и находит другой идеал. Достоевский в своих романах стремился доказать, что устремлённость к целям высоким, но лишённым религиозного основания может иметь для общества катастрофические последствия. Тургенев так не думал. Теоретически для него не имело особого значения, чему именно собираются служить его герои: науке, Богу, освободительному движению в Болгарии и т. д. Главное, по его мнению, заключалось в том, чтобы человек был способен «надломить упорный эгоизм своей личности» [9: 5, 227] и весь отдать «своему делу, своей мечте» [9: 6, 227]. Он даже полемичен по отношению к Достоевскому, так как на определённый миг ему удаётся достичь той удивительной гармонии, когда его герои, с одной стороны, стремятся к счастью, а с другой, – одухотворены высоким идеалом, и этот идеал отнюдь не является религиозным (разумеется, что речь в данном случае не идёт о романе «Дворянское гнездо»). Но одновременно Тургенева что-то настораживает. Интуитивно он чувствует, что те идеалы, которые вдохновляют его героев, не очень надёжны, что они не препятствуют проникновению зла в человеческую душу. Тургеневский Базаров вызывает симпатию у многих читателей, но если логически продолжить те тенденции, которые заложены в его нигилизме, то это прямая дорога к Николаю Ставрогину. У Рудина есть слабости, но в целом Тургенев изображает его как человека, несущего обществу большую пользу. Если же представить его в романе Достоевского, то это будет Степан Трофимович Верховенский, развративший молодёжь и породивший страшных бесов революции. В любом герое Тургенева, кроме глубоко верующей Лизы Калитиной, есть тенденция к злу. Уместно вспомнить тонкое замечание В.М. Марковича, который, анализируя характер Елены Стаховой, говорит о «загадке её безлюбного, в сущности даже недоброго стремления к добру» [7: 136–137]. В ещё более заострённой форме об этом пишет М.М. Дунаев, указывая на «опасность, какую несут в себе подобные самоотверженные деятели» [4: 67]. Вспомним, что ещё в самом начале романа, описывая Елену, Тургенев скажет: «Стоило человеку потерять её уважение, – а суд произносила она скоро, часто слишком скоро, – и уж он переставал существовать для неё» [9: 8, 32–33]. Уже здесь намечается не только достойная уважения принципиальность, но и явная жёсткость, бездушие по отношению к людям. Это несколько не противоречит тому, что Елена од-

новременно весьма чувствительна, жалостлива. Такие качества вполне сочетаемы. И Николай Артемьевич Стахов не случайно жалуется на свою дочь: «Её сердце так обширно, что обнимает всю природу, до малейшего таракана или лягушки, словом всё, за исключением родного отца» [9: 8, 40–41]. Это серьёзное обвинение, тем более что Николай Артемьевич хотя и пустой, легкомысленный, но в принципе неплохой, вполне обычный человек. И бессердечное отношение к нему дочери не делает ей чести. А ведь его слова могут повторить почти все те, кто близок к Елене.

Она весьма пренебрежительно смотрит на Шубина, явно недооценивает Берсенева и в общем равнодушна к обоим. Между тем они замечательные люди. Елена сама понимает, что ей не хватает человеческого тепла и внимания к окружающим: «Кого же я буду любить, если я к своим холодна? Видно папенька прав: он упрекает меня, что я люблю одних собак да кошек. Надо об этом подумать. Я мало молюсь; надо молиться...» [9: 8, 79–80]. Характерно, что в рассуждениях Елены равнодушие к людям связывается с равнодушием к Богу. Вспомним, что совершенно по-другому описывалась Тургеневым Лиза Калитина: «Вся проникнутая чувством долга, боязнь оскорбить кого бы то ни было, с сердцем добрым и кротким, она любила всех и никого в особенности; она любила одного бога восторженно, робко, нежно» [9: 7, 244]. Нельзя не видеть, что здесь на художественном уровне у Тургенева возникает переключка с заветной идеей Достоевского, согласно которой любовь к людям невозможна без веры в Бога. Тургенев не разделял воззрений Достоевского. Тем не менее, постигая человека, как художник, он во многом переключается с ним. И в его изображении получается так, что у Елены, доброй от природы, но равнодушной к Богу, любовь к дальним (не случайно она отправится освободить далёкую Болгарию) совмещается с величайшей холодностью к близким. Одна только глубоко религиозная Лиза Калитина искренне любит всех.

Правда, у Тургенева есть герои, которые не принадлежат к людям верующим и при этом отличаются исключительной высотой своего нравственного облика. И всё же, если вдуматься в некоторые особенности их внутреннего мира, можно наблюдать какую-то переключку открытий Тургенева с христианской концепцией личности.

Очень привлекателен, например, Берсенев. Он убеждён, что «поставить себя номером вторым – всё назначение нашей жизни» [9: 8, 14]. И этот человек не только говорит о своих принципах. Он способен претворять их в жизнь. Берсенев любит Елену, но когда появляется Инсаров, он по собственной инициативе уступает ему первенство. Он ухаживает за своим соперником, когда тот серьёзно заболел. Он постоянно выступает посредником между

Еленой и Инсаровым. Самое главное, что всё это изображено правдиво, психологически достоверно. Создавая такой характер, Тургенев решал трудную художественную задачу. В какой-то мере он опять прокладывает дорогу Достоевскому, поставившему перед собой цель создать образ «положительно прекрасного человека». При этом Тургенев тонко ощущал ту грань, которая существует между естественным добром и христианской любовью к людям. Подобную грань, на наш взгляд, хорошо почувствовал Добролюбов. Вспомним, что он пишет о тургеневском герое: «И Берсенева, добрый, самоотверженный Берсенева, так искренно и радушно ходивший за больным Инсаровым, так великодушно служивший посредником между ним, своим соперником, и Еленой, – и Берсенева, это золотое сердце, как выразился Инсаров, – не может удержаться от ядовитых размышлений, убедившись окончательно во взаимной любви Инсарова и Елены. "Пусть их! – говорит он: – Не даром мне говаривал отец: мы с тобой, брат, не сибариты, не аристократы, не баловни судьбы и природы, мы даже не мученики, мы – труженики, труженики и труженики. Надевай же свой кожаный фартук, труженик, да становись за свой рабочий станок, в своей тёмной мастерской! А солнце пусть другим сияет. И в нашей глухой жизни есть своя гордость и своё счастье!" Каким адом зависти и отчаяния веют эти несправедливые попреки, – неизвестно кому и за что!..» [2: 104]. Может показаться, что Добролюбов слишком строго судит о переживаниях Берсенева, слишком резко о них отзывается: «ядовитые размышления», «ад зависти и отчаяния», несправедливые попреки». Но не следует забывать, что Добролюбов родился в семье священника, что он получил там соответствующее православное воспитание, что в ранней юности он был очень верующим человеком. В данном случае всё это сказалось. Добролюбов невольно начинает судить о человеке с христианской точки зрения и очень остро реагирует на то, как в душе доброго, благородного Берсенева вдруг обнаруживаются малейшие зародыши зла. Но критик мог почувствовать всё это лишь в том случае, если такое содержание есть в романе, если писатель сам хотя бы интуитивно сознавал границы естественного добра в душе человека.

До сих пор речь шла о том, что писатель, рождённый и воспитанный в православной среде, сохраняет в душе определённые христианские представления, даже если он давно уже перестал считать себя верующим. Вместе с тем следует иметь в виду, что, называя себя атеистом, Тургенев не был равнодушен к религии. Г.Б. Курляндская справедливо указывает, что отношение к церкви менялось у писателя в разные периоды его жизни: «В 40-е годы писателя поражало в религии напряжённое самоотречение и отталкивал платонический характер этого отречения, его предметная пустота и бесче-

ловечность <...>. В 50-е годы в письмах к Ламберт звучат иные ноты и выражается признание религиозности одним из наиболее верных средств познания истины» [5: 17–18]. В этот период Тургенев пишет: «Имеющий веру – имеет всё и ничего потерять не может; а кто её не имеет – тот ничего не имеет, – и это я чувствую тем глубже, что сам я принадлежу к неимущим! Но я не теряю надежды» [9: 4, 306]. Роман «Дворянское гнездо» создавался тогда, когда Тургенев не только интуитивно, но вполне сознательно приближался к постижению духовного мира православного человека. Характерно, например, как отчётливо в романе «Дворянское гнездо» проступает идея человеческой греховности, чуждая просветительской идеологии, но являющаяся одной из важнейших в христианстве. Вглядываясь в глубины человеческого сознания, Тургенев изображает своих героев отнюдь не с просветительской точки зрения. Лаврецкий, например, чрезвычайно привлекательный человек. Тем не менее, как часто писатель подчёркивает в своём герое греховные мысли, жестокие склонности, таящиеся где-то в самых тайниках его души. Даже мотив возможного преступления звучит в романе Тургенева. Узнав об измене жены, Лаврецкий ощущает в себе весьма жестокие порывы: «Он вспомнил выражение её лица, странный блеск её глаз и краску на щеках, – и он поднялся со стула, он хотел пойти, сказать им: «Вы со мной напрасно пошутили; прадед мой мужиков за рёбра вешал, а дед мой сам был мужик», – да и убить их обоих» [9: 7, 176]. Он способен сдержать в себе чувство гнева, но и в дальнейшем желание смерти Варвары Павловны в нём сохраняется. Подобная ситуация, когда речь идёт о мысленном желании смерти того человека, который мешает чужому счастью, привлечёт затем самое пристальное внимание Достоевского. Но этическую и психологическую проблему почувствовал здесь уже Тургенев. Вспомним сцену, когда Лаврецкий встречается с женой вскоре после известия о её мнимой смерти: «Я сумею покориться, – возразила Варвара Павловна и склонила голову. – Я не забыла своей вины; я бы не удивилась, если б узнала, что вы даже обрадовались известию о моей смерти», – кротко прибавила она, слегка указывая рукой на лежащий на столе, забытый Лаврецким номер журнала.

Фёдор Иваныч дрогнул: фельетон был отмечен карандашом» [9: 7, 250–251]. Кто знает, если бы рядом с Лаврецким оказались Смердяков или Федька Каторжный, то, может быть, и здесь они уловили бы идущие из глубины души импульсы зла и восприняли их как негласный приказ совершить преступление.

Всё это, разумеется, совершенно по-разному осмысливается Тургеневым и Достоевским. Тургенев лишь догадывался о тех безднах, которые таятся в душе человека. На переднем плане для него всё же были устойчивые, традиционные формы русской жизни. Достоев-

ский, напротив, предчувствовал момент, когда всё это может исчезнуть, и он страшился того хаоса, который должен был вырваться наружу. Но переключка между писателями была. Пусть не в такой мере, как Достоевский, Тургенев всё же способен был использовать знание о человеке, которое несло с собой христианство. Возможность проникновения зла в душу своего героя Тургенев отмечает во все не случайно. Он показывает, что его герой даже сам весьма отчётливо сознаёт греховность некоторых своих мыслей и желаний: «Настали трудные дни для Фёдора Ивановича. Он находился в постоянной лихорадке. Каждое утро отправлялся он на почту, с волнением распечатывал письма, журналы – и нигде не находил ничего, что могло бы подтвердить или опровергнуть роковой слух. Иногда он сам себе становился гадо: «Что это я, – думал он, жду, как ворон крови, верной вести о смерти жены!» [9: 7, 228]. Человек с нетерпением ждёт смерти одного из своих близких. Подобный мотив, как известно, ляжет в основу сюжета «Братьев Карамазовых». Но и в «Дворянском гнезде» он играет существенную роль и подчёркивается не один раз. Вспомним, что смерть своего отца Лаврецкий тоже встречает с чувством радостного освобождения: «Глафира Петровна <...> остановилась, посмотрела брату в лицо, медленно, широко перекрестилась и удалилась молча; а тут же находившийся сын тоже ничего не сказал, опёрся на перила балкона и долго глядел в сад, весь благовоновый и зелёный, весь блестящий в лучах золотого весеннего солнца. Ему было двадцать три года; как страшно, как незаметно скоро пронеслись эти двадцать три года!.. Жизнь открывалась перед ним» [9: 7, 165]. Жизнь открывается перед Лаврецким после смерти больного отца. В чувствах его, несомненно, есть что-то греховное. Тургенев даёт это почувствовать, несмотря на всю поэтичность строк, которые должны передать радостное ожидание счастья. И мы ощущаем неизбежность наказания для тургеневского героя.

Какие-то греховные чувства и порывы писатель отмечает даже в Лизе Калитиной: «Поделом! – говорила она самой себе, с трудом и волнением подавляя в душе какие-то горькие, злые, её самоё пугавшие порывы» [9: 7, 257]. Почему Тургенев обо всём этом пишет, почему он так тщательно фиксирует малейшие зародыши зла в душе Лаврецкого или Лизы? С просветительскими представлениями о человеке это не сочетается. Но Тургенев использует нравственный опыт христианства, где имеются совсем иные глубины. Ведь именно ощущение греха позволяет понять порыв человека к святости. Злые или греховные чувства могут быть совершенно незначительны сами по себе. И лишь сознание христианина как бы наводит на них увеличительное стекло, придаёт им огромное значение и старается искоренить их в момент зарождения.

Вообще поражает глубина, с которой великому писателю удается проникнуть во внутренний мир верующего человека. Вспомним хотя бы тот эпизод в романе, когда весёлая, оживлённая беседа Лизы Калитиной и Лаврецкого вдруг переходит за ту границу, где всё изъято из состояния обыденного, житейского: «Христианином нужно быть, – заговорила не без некоторого усилия Лиза, – не для того, чтобы познавать небесное... там ... земное, а для того, что каждый человек должен умереть» [9: 7, 210]. И далее Лиза добавляет, что часто думает о смерти.

Если учесть безусловную искренность героини Тургенева, то подобные мысли и настроения у юной девушки, живущей в привилегированной среде, могут показаться чем-то болезненным, очень неожиданным. Вместе с тем они глубоко оправданы теми внутренними духовными потребностями, которые возникали в этот период у многих представителей русской интеллигенции, не удовлетворённых окружающим, стремившихся отыскать какие-то новые жизненные идеалы.

Человек перед лицом смерти отрывается от обыденных связей и иногда с особой остротой ощущает, было или отсутствовало в его жизни духовное начало. Постоянно вживаясь в подобную ситуацию, героиня Тургенева придаёт себе тот внутренний настрой, без которого, вероятно, и невозможен поиск христианского идеала.

Уместно в связи с этим вспомнить, что пишет А.М. Любомудров о православии и церковности в русской литературе. Исследователь возражает против того, чтобы христианскими считались все классические тексты девятнадцатого века: «Православным может считаться такое произведение, художественная идея которого включает в себя необходимость воцерковления для спасения <...>. Только если в художественном мире главными ценностями остаются Бог и спасение, понимаемые как спасение в Церкви, можно говорить о православности творчества писателя. При этом явления действительности воссоздаются и оцениваются с точки зрения православия, глазами православного христианина» [6: 117]. Критерии устанавливаются весьма строгие. Но нельзя не видеть, что им в значительной мере соответствует роман «Дворянское гнездо». Да, писатель не раз заявлял о своём атеизме. Но он был рождён и воспитан как православный. Он понимал значение веры и стремился обрести её. Всё это, несомненно, проявилось при создании «Дворянского гнезда».

Нельзя не видеть, как значительна роль церкви на страницах романа. В нём показано религиозное воспитание героини. Няня «рассказывает ей не сказки: мерным и ровным голосом рассказывает она житие пречистой девы, житие отшельников, угодников божиих, святых мучениц; говорит она Лизе, как жили святые в пустынях, как спасались, голод терпели и нужду, – и царей не боялись, Христа

исповедовали, как им птицы небесные корм носили и звери их слушались; как на тех местах, где кровь их падала, цветы выростали» [9: 7, 242]. В романе описывается всенощная; дважды рассказывается о том, как посещает церковь Лаврецкий; в монастыре происходит его последняя встреча с Лизой Калитиной. Конечно, обращение Тургенева к церковной теме обусловлено в первую очередь сюжетом романа. Сам автор остаётся человеком гуманистической культуры. Тургенев поэтизирует земную любовь. Он сочувствует и сопереживает герою, напрасно простирающему «свои руки к заветному кубку, в котором кипит и играет золотое вино наслаждения» [9: 7, 293]. Но художественный дар великого писателя и потребность веры, живущая в его душе, способствуют тому, что в какой-то мере герои «Дворянского гнезда» предстают перед нами в свете христианского учения.

Прежде всего, это проявляется в том, что на страницах своего романа Тургенев воспроизводит мир, где присутствует Бог: «Вспомнилось ему, как в детстве он всякий раз в церкви до тех пор молился, пока не ощущал у себя на лбу как бы чьего-то свежего прикосновения; это, думал он тогда, хранитель-ангел принимает меня, кладёт на меня печать избрания» [9: 7, 227]; «Лиза её слушала – и образ вездесущего, всезнающего бога с какой-то сладкой силой втеснялся в её душу, наполнял её чистым, благоговейным страхом, а Христос становился ей чем-то близким, знакомым, чуть ли не родным» [9: 7, 242]. Безусловно, что автор отделяет своё мировосприятие от мировосприятия героев. Но он всё же воспроизводит иную духовную реальность. И очень точно угадывает законы этой реальности. Например, с православной точки зрения только в церкви возможно преображение души человека. Не случайно писатель показывает, как всё чаще посещает церковь Лаврецкий. При этом Тургенев способен передать какие-то важнейшие моменты религиозного опыта: «Чинно стоявший народ, родные лица, согласное пение, запах ладану, длинные косые лучи от окон, самая темнота стен и сводов – всё говорило его сердцу. Давно он не был в церкви, давно не обращался к богу; он и теперь не произносил никаких молитвенных слов, – он без слов даже не молился, – но хотя на мгновение если не телом, то всем помыслом своим повергнулся ниц и приник смиренно к земле» [9: 7, 227]. Писатель здесь изобразил Лаврецкого как русского человека, который под воздействием европейского воспитания утратил внутреннюю цельность. Пытаясь восстановить её, он влечётся к вере своего народа. Но одного такого порыва мало. Как истинно гениальный писатель Тургенев с необычайной точностью угадывает дальнейшее развитие исканий своего героя. В эпилоге романа о Лаврецком будет написано: «... он сделался действительно хорошим хозяином, действительно выучил-

ся пахать землю и трудился не для одного себя; он насколько мог, обеспечил и упрочил быт своих крестьян» [9: 7, 223]. Более подробно этот мотив будет разработан у Достоевского. Шатов убеждает Ставрогина: «Слушайте, добудьте бога трудом; вся суть в этом, или исчезните, как подлая плесень; трудом добудьте» [3: 10, 203]. Главный персонаж «Бесов» признаёт значение такого совета: «Вы полагаете, что бога можно добыть трудом, и именно мужицким? – переговорил он, подумав, как будто действительно встретил что-то новое и серьёзное, что стоило обдумать» [3: 10, 203]. И хотя окончательный выбор Ставрогина будет совершенно иным, сцена позволяет предположить наличие религиозного мотива в том моральном преображении, которое происходит с Фёдором Лаврецким. Но именно предположить. Тургенев не стремится до конца прояснить суть духовных исканий своего героя. Если Достоевский был убеждён, что одна только вера в народ, в Россию, но без веры в Бога не спасёт человека от бесов, то перед героем Тургенева нет столь жёсткого выбора. Возможно, что Лаврецкий в дальнейшем станет глубоко верующим человеком. Возможно, что он будет пахать землю и заботиться о своих крестьянах, подчиняясь только чувству долга. В любом случае, считает писатель, он нашёл свою почву и перестал быть русским скитальцем.

#### Список литературы

1. Бердяев, Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. – М.: Наука, 1990.
2. Добролюбов, Н.А. Полное собр. соч.: в 9 т. – М.; Л.: ГИХЛМ, 1963. – Т. 6.
3. Достоевский, Ф.М. Полное собр. соч.: в 30 т. – Л.: Наука, 1972–1985.
4. Дунаев, М.М. Православие и русская литература: в 5 ч. – М.: Христианская литература, 1997. – Ч. III.
5. Курляндская, Г.Б. Мировоззрение, метод, традиции. – Тула, 2001.
6. Любомудров, А.М. Духовный реализм в литературе русского зарубежья: Б.К. Зайцев, И.С. Шмелёв – СПб.: Дмитрий Буланин, 2003.
7. Маркович, В.М. И.С. Тургенев и русский реалистический роман XIX века. – Л. – 1982.
8. Тареев, М.М. Цель и смысл жизни // Смысл жизни: Антология. – М.: Прогресс-Культура, 1994.
9. Тургенев, И.С. Полн. собр. соч. и писем: в 28 т. – М.-Л.: Наука, 1961–1968.
10. Чернов, А.В. Архетип «блудного сына» в русской литературе девятнадцатого века // Евангельский текст в русской литературе. Цитата, реминисценция, сюжет, жанр: сб. науч. тр. – Петрозаводск, 1994. – Вып.1.

УДК 821.161.1.09

***Н. А. Переверзева \****

---

Кандидат филологических наук, доцент, Орловский государственный институт искусств и культуры.

## О символической функции лейтмотивов в повести Л. Н. Толстого «Смерть Ивана Ильича»

Статья посвящена одному из аспектов анализа символической образности повести Л. Н. Толстого «Смерть Ивана Ильича». В частности, рассматривается характер функционирования ключевых слов-лейтмотивов «приятный / приличный» – «неприятный / неприличный», «дело», «суд», «жизнь», «смерть», которые являются составляющей центрального символа повести – «света» – и обозначают основу внутреннего символического сюжета произведения. Предлагаемый анализ свидетельствует, что семантические поля собственно образной и символической систем могут частично совпадать, но, как правило, символические мотивы, закрепляющие и усиливающие символическое значение образа, сохраняют самостоятельность и относительную независимость от реалий «внешней», эмпирической сюжетности. В то же время символические лейтмотивы, обладая признаками внешнего сюжета, проникают сквозь повествование, наполняя его символическим подтекстом.

The article is devoted to one of the aspects of analysis of symbolic figurativeness of L. N. Tolstoy's «Ivan Iljich's Death». In particular the character of functioning the key words leitmotifs “pleasant / decent” – “unpleasant / undecent”, “business”, “justice”, “life”, “death”, which are the components of central symbol of the story – “light” – and they mean the basis of inner, symbolic topic of work are examined. The suggested analysis testifies that the semantic grounds of figurative and symbolic system can partially coincide, but as a rule, the symbolic motives, which fix and strengthen the symbolic meaning of image keep self independence and relative independence of “external”, empirical plot reality. At the same time, the symbolic leitmotifs, having the signs of external plot, penetrate all narration, filling it by symbolic sense.

*Ключевые слова:* символ, функция, мотив, лейтмотив.

Существенную роль в символической поэтике повести «Смерть Ивана Ильича» выполняют слова-лейтмотивы *приятный / приличный*, а также *дело, суд, жизнь и смерть*. В силу устойчивости связей с ключевыми образами и чрезвычайно высокой частотностью употребления, эти лейтмотивы составляют основу символического сюжета и организуют различные образы и мотивы в одно целое. Особенность этих слов-лейтмотивов заключается также в том, что они обладают двойными, противоположными значениями, прочно закрепленными за каждым из них.

Проследим развитие мотива *приятный / приличный* – *неприятный / неприличный* в строгом соответствии с предложенной в повести последовательностью.

Иван Ильич был «умный, живой, *приятный* и *приличный* (курсив здесь и дальше в тексте повести наш – Н. П.) человек». Он служил, делал карьеру и вместе с тем *приятно* и *прилично* веселился» [4: XXVI, 70]. Даже связи с женщинами в молодые годы, попойки, поездки в публичные дома – «все это носило на себе... высокий тон *порядочности*» [4: 70]. Чиновником особых поручений, су-

дебным следователем, а впоследствии прокурором, Иван Ильич «был таким же *приличным*, умеющим отделять служебные обязанности от частной жизни и внушающим общее уважение» [4: 71]. Жизнь его складывалась *приятно*, «немалую *приятность* в жизни прибавил... вист» [4: 71]. Характер жизни «легкой, *приятной*, веселой и всегда *приличной* и одобряемой обществом... Иван Ильич считал свойственным жизни вообще» [4: 73]. Женившись, он стал требовать и от жены «того *приличия*, которые определялись общественным мнением» [4: 74–75]. Он искал в супружеской жизни «веселой *приятности* и, если находил их, был очень благодарен; если же встречал отпор и ворчливость, то тотчас же уходил в свой отдельный, выгороженный им мир службы и в нем находил *приятность*» [4: 75]. Жизнь его шла так, «как он считал, что она должна была идти: *приятно и прилично*» [4: 76].

Получив новое большое повышение по службе, Иван Ильич понял, что, наконец, «жизнь приобретает настоящий, свойственный ей, характер веселой *приятности* и *приличия*» [4: 72], и жизнь «пошла так, как, по его вере, должна была протекать жизнь: легко, *приятно и прилично*» [4: 80]. Он совершенствовался в умении отделять служебные дела от всего человеческого, и «дело это шло у Ивана Ильича не только легко, *приятно и прилично*, но даже виртуозно» [4: 81].

Начиная с четвертой главы, когда возникает мотив болезни Ивана Ильича, понятия *приятный / приличный* исчезают, уступая место понятиям с противоположным знаком: *неприятный / неприличный*.

Супруги стали ссориться, «скоро отпала легкость и *приятность* и с трудом удерживалось одно *приличие*» [4: 83]. Прасковья Федоровна «говорила ему *неприятности*» [4: 83]. Иван Ильич злился на несчастья или людей, делавших ему *неприятности* и убивающих его» [4: 86]. Прасковья Федоровна, в свою очередь, считала, что «вся болезнь эта есть новая *неприятность*, которую он делает жене» [4: 88]. Для испражнений его... были сделаны особые приспособления, и всякий раз это было мученье. Мученье от нечистоты, *неприличия* и запаха... [4: 95]. «Но в этом самом *неприятном деле* и явилось утешенье Ивану Ильичу» [4:95].

Как видим, мотив *приятный / приличный* развивается по восходящей линии и в высшей точке («Дело это шло у Ивана Ильича не только легко, *приятно и прилично*, но даже *виртуозно*») обрывается началом болезни. Мотив *неприятный / неприличный* развивается также по принципу усиления и также на вершине своего развития («... в этом самом *неприятном деле* и явилось утешенье Ивану Ильичу») обрывается появлением Герасима, участие которого подводит Ивана Ильича к пониманию того, что «страшный, ужасный акт

его умирания... всеми окружающими его был низведен на степень случайной *неприятности*, отчасти *неприличия*,.. тем самым «приличием», которому он служил всю свою жизнь...» [4: 98].

Мотив завершен.

Обнаруженная в его развитии закономерность дает основание утверждать, что мотив обладает основными качествами «внешнего сюжета: завязка, развитие действия, кульминация, развязка, составляя при этом внутренний стержень повествования, то есть является своеобразным сюжетом в сюжете.

Можно заметить, что в тесном взаимодействии с мотивом *приятный / приличный – неприятный / неприличный* находится слово-лейтмотив *дело*, которое вместе с производными «делать», «отделываться», «делишки» и т. д. является в повести, пожалуй, наиболее часто употребляемым понятием. Слово-лейтмотив *дело / делать* в той или иной степени характеризует почти всех персонажей повести.

*Петр Иванович:*

«Петр Иванович вошел, как всегда это бывает, с недоумением о том, что ему там (в комнате мертвеца – *Н.П.*) надо будет *делать* [4: 63]; «Петр Иванович знал, что как там надо было креститься, так и здесь надо было пожать руку, вздохнуть и сказать: «Поверьте!». И он так и *сделал*. И, *сделав* это, почувствовал, что результат получился желаемый: что он тронут и она (*Прасковья Федоровна – Н.П.*) тронута» [4: 65]; «...он (*Петр Иванович – Н.П.*) поддается мрачному настроению, чего не следует *делать*, как это очевидно видно по лицу Шварца. И, *сделав* это рассуждение, Петр Иванович успокоился...» [4: 67].

*Прасковья Федоровна:*

«– Я все сама *делаю*, – сказала она Петру Ивановичу... – Я нахожу притворством уверять, что я не могу от горя заниматься практическими *делами*... Однако у меня *дело* есть к вам» [4: 66]; «... она разговорилась и высказала то, что было, очевидно, ее главным *делом* к нему; *дело* это состояло в вопросах о том, как по случаю смерти мужа достать денег от казны» [4: 67]; «... она без всякой причины ревновала его (*Ивана Ильича – Н.П.*), требовала от него ухаживанья за собой, придиралась ко всему и *делала* ему неприятные и грубые сцены» [4: 73]; «Она все над ним (*Иваном Ильичом – Н.П.*) *делала* только для себя и говорила ему, что она *делает* для себя то, что она точно *делала* для себя как такую невероятную вещь, что он должен был понимать это обратно» [4: 102].

*Лещетицкий (Первый доктор):*

«Не было вопроса о жизни Ивана Ильича, а был спор между блуждающей почкой и слепой кишкой. И спор этот на глазах Ивана Ильича доктор блестящим образом разрешил в пользу слепой киш-

ки, *сделав* оговорку о том, что исследование мочи может дать новые улики и что тогда *дело* будет пересмотрено» [4: 84].

*Михаил Данилович (Второй доктор):*

«Иван Ильич чувствует, что доктор хочет сказать: "Как *делишки?*", но что и он чувствует, что так нельзя говорить, и говорит: "Как вы провели ночь?"» [4: 101]; «Иван Ильич знает твердо и несомненно, что все это вздор и пустой обман, но когда доктор, встав на колени... *делает* над ним с значительнейшим лицом разные гимнастические эволюции, Иван Ильич поддается этому...» [4: 101].

*Шварц:*

«Вот-те и винт! Уж не взыщите, другого партнера возьмем. Нешто впятером, когда *отделаетесь*», – сказал его игривый взгляд» [4: 65].

Особая роль Шварца, в чертах лица которого просматривается «что-то едва ли даже не мефистофельское (Шварц – черный – черт?)» [2: 235], состоит еще и в том, что в его характеристике слово-лейтмотив *дело / делать* переходит непосредственно в понятие *игра / игривый*, которое, объединяя различные оттенки понятия *дело*, выражает в повести его доминантное значение, абсолютно противоположное прямому: «...Шварц с серьезно сложенными, крепкими губами и *игривым* взглядом, движением бровей показал Петру Ивановичу направо, в комнату мертвеца» [4: 63]; «Шварц ждал его... *играя* обеими руками за спиной своим цилиндром. Один взгляд на *игривую*, чистоплотную и элегантную фигуру Шварца освежил Петра Ивановича» [4: 64].

Понятию *дело / игра*, характеризующему названных персонажей, в повести противостоит понятие *дело / труд*, связанное с Герасимом – единственным персонажем, в характеристике которого слова-лейтмотивы сохраняют свои прямые значения: «... в этом самом неприятном *деле* и явилось утешение Ивану Ильичу. Приходил всегда выносить за ним буфетный мужик Герасим» [4: 95]; «Сначала вид этого, всегда чисто, по-русски одетого человека, *делавшего* это противное *дело*, смущал Ивана Ильича» [4: 96]; «И он ловкими, сильными руками *сделал* свое привычное *дело*» [4: 96]; «– Тебе что *делать* надо еще? – Да мне что же *делать*? Все *переделал*, только дров наколоть на завтра» [4: 97]; «Один Герасим не лгал, по всему видно было, что он один понимал, в чем *дело* ...» [4: 98].

Уже в первом опубликованном анализе повести (Н.С. Лесков) подчёркивалась роль Герасима, который "перед отверстым гробом... научил барина ценить истинное участие к человеку страждущему, – участие, перед которым так ничтожно и противно всё, что приносят друг другу в подобные минуты люди светские" [3: II, 154].

Герасим появляется в первой и заключительных главах повести. В первой главе он неслышно проходит перед Петром Ивановичем *лёгкими шагами*, и тот вспоминает, что "видел этого мужика в кабинете; он исполнял должность сиделки, и Иван Ильич особенно любил его" [4: 63].

Первая глава чрезвычайно важна для понимания символической образности повести. Едва ли не каждый образ или эпитет, едва ли не каждая деталь или подробность первой главы находят продолжение, развитие и объяснение в основном повествовании. М. П. Еремин справедливо утверждает, что "в первой главе есть своя законченность – по принципу зеркального круга" [2: 242-245], но

законченность эта имеет, по его мнению, скорее фабульный характер. С точки зрения символической наполненности, первая глава содержит в себе не только вопросы типа "в чём смысл случившегося?", как полагает М.П. Ерёмин, но и ответы на вопросы, заданные основным повествованием. На наш взгляд, любой вид анализа повести будет неполным без повторного возвращения к первой главе после знакомства с основным повествованием – в этом одна из особенностей повести, продиктованная её композиционным своеобразием – принципом художественной ретроспекции.

В заключительных главах близость Ивана Ильича и Герасима находит конкретное воплощение: Иван Ильич хочет, чтобы Герасим держал его ноги как можно выше на своих плечах. Эта нелепая поза, которая, якобы, приносит облегчение больному, вызывает недоумение окружающих. Прасковья Фёдоровна жалуется очередному доктору: "Да ведь вот не слушается!.. А главное – ложится в такое положение, которое, наверное, вредно ему, – *ноги кверху* [4: 102]. Доктор презрительно-ласково улыбается: "Что ж, мол, делать, эти больные выдумывают иногда такие глупости; но можно простить" [4: 102].

Реалистическая мотивировка сомнений не вызывает, тем не менее то, что Л.Н. Толстой придаёт этим, в сущности, финальным эпизодам очень большое значение, должно найти иное, более глубокое объяснение.

Едва ли не постоянной характеристикой Герасима является легкая поступь: "Вошёл в толстых сапогах... *лёгкой сильной поступью* Герасим... ловкими сильными руками сделал своё привычное дело и вышел, *легко ступая*. И через пять минут, так же *легко ступая*, вернулся" [4: 96].

"Лёгкая поступь" Герасима и "ноги" Ивана Ильича явно акцентированы Л.Н.Толстым, явно наделены неким "вторым" смыслом: "...ему (Ивану Ильичу - Н.П.) казалось, что ему лучше, пока Герасим держал его *ноги*" [4: 97]; "Ему хорошо было, когда Герасим, иногда целые ночи напролёт, держал его *ноги*..." [4: 98]; "Все тот же Герасим сидит в *ногах* на постели, дремлет спокойно, терпеливо. А он (Иван Ильич – Н.П.) лежит, подняв ему на плечи исхудалые *ноги*..." [4: 105].

У А.Н. Афанасьева находим: "Нога, которая приближает человека к предмету его желаний, обувь, которою он при этом ступает, и след, оставляемый им на дороге, играют весьма значительную роль в народной символике. Понятиями *движения, поступи, следования* (курсив наш – Н.П.) определялись все нравственные действия человека" [1: 31]. К этому можно добавить, что *нога* – это традиционный символ души в большинстве мифологических и религиозных систем.

Эта информация заставляет рассматривать отношения Герасима и Ивана Ильича совсем в другом свете.

Эпизоды, в которых Иван Ильич остается наедине с врачующим его душу Герасимом, глубоко символичны. Здесь пересекается множество смысловых линий. Беспомощный барин, черпающий у мужика нравственную силу, и молчаливый, себе на уме мужик, одной, никому неведомой любовью возрождающий полумертвеца к истинной жизни. Это можно назвать символом религиозно-нравственной программы Л.Н. Толстого, символом, в котором отразились все её противоречия.

В характеристике Герасима прямое значение слова *дело* усиливается понятием *работа (труд)*: «... как человек в разгаре *усиленной работы*, живо отворил дверь, кликнул кучера, посадил Петра Ивановича и прыгнул назад к крыльцу, как бы придумывая, что бы еще ему *сделать* [4: 68]; «– Все умирать будем. Отчего же не потрудиться? – сказал он, выражая этим то, что он не тяготится своим *трудом* именно потому, что несет его для умирающего человека и надеется, что и для него кто-то в его время понесет тот же *труд*» [4: 98].

Несмотря на то, что основная линия мотива дела связана с образом Ивана Ильича, мы сочли достаточным показать его функционирование на примере второстепенных персонажей.

Охватывая значительный круг персонажей, мотив *дела* точно так же, как и мотив *приятный / приличный – неприятный / неприличный*, сохраняет относительную самостоятельность и обнаруживает сюжетные свойства. Ближе к финалу повести мотив *дела* тесно взаимодействует с мотивом *суда*.

Впервые Иван Ильич почувствовал себя подсудимым с появлением доктора, который в его сознании ассоциируется с представителем суда: «Все было точно так же, как в *суде*. Как он в *суде делал вид над подсудимыми*, так точно над ним знаменитый доктор тоже *делал вид*» [4: 84]; «Все было точь-в-точь то же, что *делал* тысячу раз сам Иван Ильич над *подсудимыми* таким блестящим манером. Так же блестяще *сделал* свое резюме доктор и торжествуя, весело даже, взглянул сверху очков на *подсудимого*» [4: 84].

Воспринимаемый вначале как метафора, мотив *суда* постоянно нарастает: «И он (Иван Ильич – *Н.П.*) шел в *суд*... и начинал *дело*. Но вдруг в середине боль в боку, не обращая никакого внимания на период развития дела, начинала свое сосущее *дело* [4: 93–94]. Иван Ильич оказывается в эпицентре множества каких-то судебно-деловых микропроцессов, каждый из которых по-своему реален и конкретен. Взятые вместе, они и составляют символическое понятие *суда*, где нет конкретного судьи, но есть конкретный подсудимый. Собственно, Иван Ильич не задает вопроса: «Кто судья?», его больше

волнует другой вопрос: «За что?» «Чего же ты хочешь теперь? Жить? Как жить? Жить, как ты живешь в суде, когда судебный пристав провозглашает: «суд идет!..» *Суд идет, идет суд*, – повторил он себе. – Вот он, суд! «Да я же не виноват! – вскрикнул он с злобой. – За что?». И он перестал плакать и, повернувшись лицом к стене, стал думать все об одном и том же: зачем, за что весь этот ужас» [4: 107].

Итогом этого символического суда становится *свет* – как искупление, которому предшествует раскаяние, возвращающее герою человеческое достоинство: «Не то. Все то, чем ты жил и живешь, – есть ложь, обман, скрывающий от тебя *жизнь и смерть*» [4: 111].

«Просветление» Ивана Ильича находит и конкретное выражение, конкретное дело: «Жалко их (жену и сына – *Н.П.*), надо *сделать*, чтоб им не больно было. Избавить их и самому избавиться от этих страданий. «Как хорошо и просто», – подумал он» [4: 114]. Смерть – это и есть то главное дело, которое совершил Иван Ильич, умерший тем, кем ему и надлежало быть от рождения, – человеком.

В первой главе обретение истины зафиксировано в выражении лица Ивана Ильича: «Он очень переменялся, еще похудел с тех пор, как Петр Иванович не видел его, но, как у всех мертвецов, лицо его было красивее, главное – значительнее, чем оно было у живого. На лице было выражение того, что то, что нужно было сделать, сделано, и сделано правильно. Кроме того, в этом выражении был еще упрек или напоминание живым» [4: 64]. Обретение истины подтверждается подробностью, которую, на наш взгляд, можно считать началом и одновременно завершением еще одного символического мотива – *свечи / света*: «Мертвец... выставлял, как всегда выставляют мертвецы, свой желтый, *восковой лоб...*» [4: 64]. Увиденный ретроспективно, этот вполне реалистический штрих как бы заключает в себе отблеск *света* последней, двенадцатой главы. Именно поэтому Петру Ивановичу, приехавшему на панихиду «исполнить очень скучные обязанности *приличия*» [4: 62], «что-то... стало *неприятно*», и он «поспешно перекрестился и, как ему показалось, слишком поспешно, несообразно с *приличиями*, повернулся и пошел к двери» [4: 64].

В толстоведении существует мнение, что «драматизм обстоятельств и обличительная сила произведения увеличиваются благодаря тому, что никакого переворота ни с кем из тех, кто близок к Ивану Ильичу, не случилось», и примером может служить Петр Иванович, который «не только не приходит к мысли, что «нельзя, нельзя и нельзя так жить», а, напротив, старается скорее избавиться от удручающего впечатления» [5: 24]. Это действительно так. Но ведь вопрос о предстоящей и, возможно, близкой смерти стоит перед Петром Ивановичем гораздо в более острой форме, чем перед дру-

гими персонажами: «Трое суток ужасных страданий и смерть. Ведь это сейчас, всякую минуту может наступить и для меня», - подумал он, и ему стало на мгновение страшно» [4: 67]. Петр Иванович с помощью привычной философии и не без поддержки Шварца находит в себе силы преодолеть страх смерти, то есть «сделать вид», что ее не существует, однако весь символический план первой главы повести настойчиво подчеркивает близость смерти именно к Петру Ивановичу.

Вопрос о том, увидит ли свет Петр Иванович, а значит и другие персонажи повести, Л.Н. Толстой оставляет открытым. Об этом говорит промежуточное положение Петра Ивановича между Шварцем и Герасимом – резко контрастными, социально обусловленными фигурами, символизирующими два полюса, две морали, два взгляда на жизнь и смерть. Если «игривый» Шварц олицетворяет ложную жизнь (или смерть, в понимании Л.Н. Толстого), то занимающийся «самым неприятным делом» Герасим является фигурой, которая подводит персонажей непосредственно к *свету* – символу, в котором сходятся все основные мотивы повести.

Говоря о том, что *свет* символизирует духовно-нравственное прозрение Ивана Ильича, освобождение его от «маски», истинную жизнь, мы не претендуем на то, чтобы полностью исчерпать богатство смысловых связей, заключенных в этом образе. Однозначными также представляются и попытки религиозно-мистического толкования, поскольку христианская традиция очень молода по сравнению с мифологической, а тот факт, что *свет* восходит к солярной символике, общеизвестен. К тому же, стремление к более или менее конкретному объяснению художественного символа представляется малопродуктивным. Можно говорить лишь об общей смысловой направленности, о *тенденции значения*, полное выявление которого невозможно даже с максимальным учетом совокупности художественных компонентов. Символ, как правило, заключает в себе определенную историко-культурную традицию и в этом смысле выходит далеко за рамки конкретного произведения.

Выводя своего героя, Ивана Ильича Головина, на солярный, космический уровень, Л.Н. Толстой погружает его в систему духовно-нравственных ценностей, которые предполагают прежде всего масштабные отношения человека и мира, а потом уже бытовые, семейные, служебные и прочие отношения. В этой связи, реалистические детали, образы, лейтмотивы, подготавливающие *свет* как центральный символ повести, являются еще и образами-напоминаниями об истинных возможностях человека, об истинном его предназначении. Именно эта их функция дает нам основание рассматривать разнородные и разномасштабные художественные реалии текста, которые выполняют в повести реалистически установленную

сюжетную программу, как упорядоченную совокупность образов и мотивов «второго», символического сюжета произведения.

#### **Список литературы**

1. Афанасьев, А. Н. Древо жизни: избр. ст. – М.: Современник, 1982.
2. Ерёмин, М.П. Подробности и смысл целого (из наблюдений над текстом повести «Смерть Ивана Ильича») // В мире Толстого: сб. ст. – М.: Сов. писатель, 1978.
3. Лесков, Н.С. О кувельном мужике и проч. Заметки по поводу некоторых отзывов о Л. Толстом / Лесков, Н. С. // Собр. соч.: в 11 т. – М.: ГИХЛ, 1989.
4. Толстой, Л.Н. Смерть Ивана Ильича / Л.Н. Толстой // Полн. собр.соч.: в 90 т. (Юбилейное).– М.: ГИХЛ, 1928–1958. – Т.26.
5. Щеглов, М.А. Повесть Толстого «Смерть Ивана Ильича» / М.А. Щеглов // Литературная критика. – М.: Худ. лит., 1971.

УДК 821.161.1.09

**С. В. Добряков\***

#### **Тенденции эпистолярной и мемуарной прозы К. Н. Леонтьева**

Работа посвящена анализу общих факторов, которые влияли на эволюцию эпистолярного и мемуарного жанров в литературном наследии К. Н. Леонтьева.

The work is dedicated to the analysis of common factors, which had an influence on the evolution of epistolary and memoir genres in the literary heritage of C. N. Leontyev.

*Ключевые слова:* К. Н. Леонтьев, жанр, мемуары, эпистолярная проза.

Роль эпистолярных и мемуарных произведений в творчестве К. Н. Леонтьева (1831–1891) необходимо оценивать с учетом разнообразности жанров, в которых работал этот автор. Наиболее ранние опыты Леонтьева (стихи, драматургия, художественная проза) можно датировать началом 1850-х годов. Из них сохранились немногие [см.: 8: I, 601–609]. При содействии И. С. Тургенева, А. А. Краевского и М. Н. Каткова Леонтьев стал печататься. С 1854 года, появлялись его публикации (в основном малая проза, а также комедия «Трудные дни», 1858).

На рубеже 1850–60-х годов Леонтьев углубленно работал над романом «Подлипки» (опубл. 1861). Тогда же он писал критические статьи («Письмо провинциала к г. Тургеневу», 1860; «По поводу рассказов Марка–Вовчка», 1861). Позднее, помимо повествователь-

---

\* Ассистент, Ленинградский государственный университет имени А. С. Пушкина.

ной прозы (романы, повести, рассказы) и литературной критики, Леонтьев занимался публицистикой на религиозные, культурные и политические темы. Первым дошедшим до нас опытом писателя в мемуарном жанре оказался очерк «Несколько воспоминаний и мыслей о покойном Ап. Григорьеве» (1869, опублик. 1915). Все указанные направления интенсивно развивались в 1870–80-е годы.

Чтобы соотнести с этой картиной тенденции эпистолярной и мемуарной прозы Леонтьева, надо учесть сложный характер взаимодействия тем и жанровых особенностей в его творчестве.

Письма и мемуары прямо отображают факты биографии их автора. Это общая черта таких произведений. Но и в художественной прозе Леонтьева востребована **автобиографическая основа**. Писатель использовал в творческих целях факты своей жизни и черты из жизни своего окружения. Это осветил Ю. П. Иваск [6]. По мнению О. Е. Майоровой, «Леонтьев относился к тому типу художников <...>, которые всегда нуждаются в том, чтобы каждый поворот судьбы, каждое значимое событие отражались в слове. Потребность в автоконцепции у него была настолько сильна, что служила мощным и, может быть, даже ведущим творческим импульсом. Ведь почти вся его проза <...> это развернутая автобиография, почти все его письма и воспоминания – это довольно правдивая исповедь» [11: 70]. Однако данная мысль носит общий характер. Когда мы обращаемся к более частным «письмам и воспоминаниям» Леонтьева, перед нами предстают неоднородные воплощения его «творческого импульса».

Письма Леонтьева часто перерастали роль «бытового документа» (термин Ю. Н. Тынянова: [14: 265]). Автор затрагивал в них не только повседневные частные дела. Так, в письме к Н. Н. Страхову от 20 мая 1863 года Леонтьев писал о своих отношениях с А. А. Григорьевым как с редактором журнала «Время» и газеты «Якорь». При этом Леонтьев сообщил Страхову о своих достижениях в литературной критике и планах в сфере публицистики. Отсюда автор перешел к своим идейным приоритетам, изложенным в виде тезисов [10: 41–42]. За счет данного изложения в письме появился **публицистический элемент**. Можно сказать, что здесь уже не «исповедь», а скорее «проповедь».

Притом суждения на идейные темы заняли значительное место и в более поздней переписке Леонтьева. Яркие примеры подобных суждений можно найти в его письмах 1880–90-х годов к А. А. Александрову, И. И. Фуделю, В. В. Розанову [см.: 10, по указателю имен]. Видимо, надо учитывать значение данного процесса при анализе эпистолярной прозы Леонтьева. В этой связи отметим исследовательскую позицию С. Г. Бочарова, который востребовал письма Леонтьева к А. А. Александрову как ресурс эстетических и религиозных идей автора [см.: 1, по указателю имен].

Но Леонтьев придавал эпистолярную форму критическим статьям («Письмо провинциала к г. Тургеневу»), а также публицистике («Письма отшельника», 1879; «Национальная политика как орудие всемирной революции», 1888, и др.). На описанном фоне важно, что в конце 1860-х годов Леонтьев написал очерк, в котором объединились мемуарный и эпистолярный жанры. Это все те же «Несколько воспоминаний и мыслей о покойном Ап. Григорьеве», созданные в виде письма к Страхову. Но специфика текста не сводится лишь к данному приему. В основу «воспоминаний» Леонтьева легли факты его встреч и дальнейшего общения с Григорьевым в Петербурге в 1863 году. Леонтьев не напоминал Страхову о деталях, перечисленных в письме к нему же от 20 мая 1863 года [см. об этих источниках также: 4]. Автор предпочел высказать свои «мысли» о значении наследия и личности Григорьева. Делая это, Леонтьев создал определенный **идейный посыл** и ввел в текст **публицистический элемент**.

С первых строк очерка Леонтьев делится своими давними впечатлениями от критических статей Григорьева начала 1850-х годов. Передача этих впечатлений достаточно быстро уступает место выводу: «Апол. Григорьев искал поэзии в самой русской жизни, а не в идеале: его идеал был – богатая, широкая, горячая русская жизнь, если можно, развитая до своих пределов и в добродетелях, и даже в страстной порочности» [8: VI, кн. 1, 8]. Рассказ о частных мнениях мемуариста сменяется обобщенными оценками «идеала» Григорьева. Это прямо показывает, что мемуарный текст формировался в ходе решения идейных задач. Поэтому в текст воспоминаний вошло публицистическое изложение, при помощи которого писатель интерпретировал идеи героя.

В мемуарном сочинении «Моя литературная судьба» (1874, опубл. 2003) Леонтьев описывал автобиографические коллизии. В произведении «Моя литературная судьба 1874–75 года» (1875, опубл. 1935 [см. также варианты заглавия: 8: VI, кн. 1, 72, 817; кн. 2, 184, 305]) **публицистический элемент** определяет часть текста, где Леонтьев описывал свои споры с И. С. Аксаковым. При этом надо оговорить взгляды О. Е. Майоровой, а также В. А. Котельникова и О. Л. Фетисенко, согласно которым обсуждаемые сочинения взаимосвязаны [11: 71–73; 8: VI, кн. 2, 257], что не отменяет описанных нами различий.

Из наиболее поздних мемуарных текстов Леонтьева, где автор задавал приоритет идейных задач и публицистических мотивов, выделяется «Воспоминание об архимандрите Макарии...» (1889). В нем Леонтьев ставил чисто религиозные вопросы, на которые сам же и стремился твердо ответить. В связи с этим текстом О. Е. Майорова указала: «Здесь сконцентрированы хорошо известные идеи

позднего Леонтьева, его представления о самой сущности христианства. <...>. Здесь с отчетливостью слышен голос автора “Наших новых христиан” – Леонтьев отдает отцу Макарию свои идеи, подставляет себя на его место» [11: 82, 83]. Этому подчинена и **автобиографическая основа** текста. В числе сходных мемуарных сочинений можно отметить очерк «Мое обращение и жизнь на Св. Афонской горе» (1889, опубл. 1900).

Итак, идейная тематика прямо сближает письма Леонтьева с его мемуарами, придает и тем, и другим публицистический стиль, наконец, просто роднит их с публицистикой как с жанром. В этой связи принципиально важны свойства **авторского кругозора** Леонтьева. Вернемся к тому, что он освещал в своих письмах все же не только факты, связанные с идейной жизнью, но и свои частные обстоятельства. Стоит проследить за логикой соотношения тех и других.

18 мая 1855 года Леонтьев, тогда участник Крымской войны, писал своей матери, Ф. П. Леонтьевой: «Пока все благополучно, милый друг мой. Керчь сдана неприятелю – это правда. Еникале взят. Но войска отступили вглубь полуострова, и я со своими донцами живу на биваках. Не беспокойтесь за мое здоровье; от простуды я предохранил себя, за седлом у меня ездит теплая шинель и большие сапоги на гуттаперче. А усталости я не чувствую никакой; скорее даже отдыхаю в этой свободе на чистом воздухе после гошпитальной жизни» [10: 30]. Общезначимые факты (ход военных действий) сменяются описанием частных дел автора, доведенным до мелкой **детализации**. В письмах к менее близким лицам Леонтьев выдерживал ту же **субъективную** манеру описания.

Исследуя письма Леонтьева к Е. С., О. С. и Ю. С. Карцовым, приходящиеся на вторую половину 1870-х годов, Ю. П. Иваск поставил вопрос о смысле «афоризмов и *настроений*, очень уж прихотливых, но высказанных безо всякой претензии» в этих письмах. Следовал вывод о творческой манере Леонтьева: «Это его стиль; он один <...> умел так перескакивать <...> с одного предмета на другой; от искусства и молитвы – к “отличному кофе”; или от арфы, котлет – к всеобщему бдению!» [6: 476]. С учетом этого вывода можно допустить, что **субъективизм** и **детализация** свойственны письмам Леонтьева точно так же, как и **публицистический элемент**. Вопрос о соотношении последнего с описаниями бытовых деталей и коллизий уместно решать при изучении конкретных писем или эпистолярных циклов.

Но если обратиться к мемуарным текстам писателя конца 1860-х – первой половины 1870-х годов, то все они начинаются с заявок на личный, даже **субъективный** подход к явлениям. А это вновь сближает мемуаристику Леонтьева с его письмами. Приведем цитаты.

«Несколько воспоминаний и мыслей о покойном Ап. Григорьеве». Начав с обращения к Страхову как к условному адресату («М. Г.», то есть «милостивый государь»), Леонтьев перешел к первой строке таким образом: «Незадолго до кончины Ап. Григорьева я познакомился с ним. – Имя его я знавал и прежде» [8: VI, кн. 1, 7]. **Субъективизм** автора просматривается именно в эпистолярной формуле.

«Моя литературная судьба» начинается с фразы: «Мне был 21-й год, когда я написал комедию “Женитьба по любви”» [8: VI, кн. 1, 27]. Следующая фраза – «Я сказал, что учился тогда медицине» [8: VI, кн. 1, 27] – могла бы поставить читателя в тупик, если не считать, что тексту предшествовали другие главы. Однако факт их наличия не установлен. Высказывалось мнение, что «для них могли использоваться написанные в конце 1870-х гг. “Воспоминания о Ф. И. Иноземцове...”» [8: VI, кн. 2, 277]. Но тогда встает вопрос, как последние предваряли «Мою литературную судьбу», написанную Леонтьевым «после выхода в отставку в 1874 г. [8: VI, кн. 2, 276]. Может быть, это связано с авторскими замыслами 1889–90 годов, «когда Леонтьев задумал отдельное издание своих воспоминаний» [8: VI, кн. 2, 277, 258–260; ср.: 11: 80]. В обсуждаемом случае изложение личных обстоятельств автора «Моей литературной судьбы» туманно. Несмотря на это, оно задает тон всему дальнейшему тексту.

«Моя литературная судьба 1874–1875 года». Здесь принципиально важна вводная фраза: «Посвящается друзьям и поручается С. П. Хитровой (Хитрово – С. Д.)» [8: VI, кн. 1, 72]. Имеется в виду дружеский круг, сложившийся близ Леонтьева «в годы его дипломатической службы в Турции» и знакомый с делами писателя. О. Е. Майорова выделила в этом кругу фигуры С. П. и М. А. Хитрово, К. А. Губастова и Е. А. Ону [11: 71, 73, 74]. Обстоятельства, излагаемые далее, видимо, были полностью понятны именно близким людям. Текст, как и предыдущий, действительно выглядит отрывком из обширного сочинения и начинается так: «Из Калуги, по окончании всех дел по имению, мы с Георгием в Ечкинском тарантасе доехали до Ивановской станции, оттуда по железной дороге до Москвы» [8: VI, кн. 1, 72. См. коммент.: кн. 2, 307–310].

Итак, в приведенных текстах наблюдается **субъективный** подход, связанный с описанием неких фактов биографии автора. **Детализация** в последнем случае осложнена тем, что не все вещи поясняются в тексте. Налицо «недоговоренность, фрагментарность, намеки», то есть те «явления», которые Ю. Н. Тынянов считал присущими жанру письма [см.: 14: 265]. О. Е. Майорова рассмотрела мемуары Леонтьева середины 1870-х годов «в контексте эпистолярных бесед <...> с К. А. Губастовым, С. П. Хитрово, Е. А. Ону». Это позво-

лило определить «природу» «воспоминаний, более похожих на письмо, чем на мемуар – и по доверительности тона, и по конкретности адресата, и по способу функционирования (текст первоначально для печати не предназначался, был отправлен, хранился и читался в кругу друзей)» [11: 74].

Другими словами, **субъективизм** Леонтьева сложился при обращениях писателя к узкому, определяемому им же самим кругу читателей. С последними можно было говорить откровенно, вне зависимости от жанровой формы обращений. В то же время этим читателям можно было не напоминать обо всех без исключения **деталях** жизни автора.

Но роль **деталей** была важна и при описании других лиц. В очерке «Несколько воспоминаний и мыслей о покойном Ап. Григорьеве» Леонтьев рассуждал: «Когда я хочу знать биографию лица, мне недостаточно отчета о его общественной деятельности, – я хочу знать все его слабости, все пороки, все домашние дела, все его привычки, всю анекдотическую часть его жизни. Представляя себе Наполеона I-го, я думаю не только о Маренго, Аустерлице, Бородине и Пирамидах, об административной энергии его, об его законодательстве и т. п. вещах, – нет, – я интересуюсь тем, что он нюхал табак, что он носил серый сюртук, что ему нравилась одно время г-жа Рекамье, что в Москве он страдал геморроем мочевого пузыря, что в молодости он был хуже собой, чем в зрелости и т. п.» [8: VI, кн. 1, 20].

Леонтьев нашел, что в таком любопытстве уже со стороны публики «есть как бы научное предчувствие». В связи с этим автор «желал, чтобы друзья Ап. Григорьева, которые знали его хорошо, не стесняясь никакими обыкновенными приличиями, составили бы биографию, достойную этой страстной и мыслящей натуры» [8: VI, кн. 1, 20–21]. Леонтьев явно осознавал интерес к **деталям** как творческий принцип.

Подход, основанный на таком принципе, позволил бы автору **субъективно** оценить жизнь героя. Ради этого Леонтьев был готов пренебречь даже «обыкновенными приличиями», что бы он ни подразумевал под этим. Можно задать вопрос, до какой степени **субъективизм** и **детализация** формировали **образы** в мемуарах Леонтьева.

В «Моей литературной судьбе» Леонтьев вспоминал о своем знакомстве с Тургеневым: «Я не знал ни наружности, ни состояния Тургенева и ужасно боялся встретить человека, *не-годного в герои*, некрасивого, скромного, небогатого <...>. Мало ли что! Это чувство, а я хочу *вид* хороший» [8: VI, кн. 1, 36]. Ниже автор привел **детальное** описание внешнего вида Тургенева: «Росту он огромного, широкоплечий, глаза глубокие, задумчивые, темно-серые, волосы были у

него тогда темные густые, курчавые с небольшой проседью <...>. Надет на нем был темно-малиновый летний шлафрок и белье прекрасное» [8: VI, кн. 1, 36]. Роль всех **деталей** здесь сведена к подтверждению ранее сложившихся симпатий автора.

Такое построение **образов** соотносится и с «собственной идеологией Леонтьева», по словам Ю. П. Иваска, «тоже образно выраженной» [6: 314]. Примером является описание одного из болгарских лидеров, которое Леонтьев привел, беседуя с И. С. Аксаковым. Оно воспроизведено в «Моей литературной судьбе 1874–1875 года», где выглядит так: «Если бы Топчилешта был старик в восточной одежде, в шальварах и нес бы сам лук по улице, несмотря на свое богатство <...> он внушал бы к себе симпатию и уважение. А когда видишь эти нескладные, дурно сшитые сюртуки, когда слышишь все эти вычитанные из западных книг фразы о просвещении, о равенстве и свободе... то видишь перед собою вовсе не того почтенного славянского Патриарха, которого желал бы видеть и чтить, а так какого-то обыкновенного буржуа, только грубее и глупее европейского» [8: VI, кн. 1, 93].

**Образ** этого болгарского лидера строится за счет **идейного посыла**, которому в мемуарном тексте подчинен отбор **деталей**. Л. Я. Гинзбург выявила аналогичные признаки в «Былом и думах» А. И. Герцена: «Единичные явления действительности могут приобретать особую смысловую значимость. Слова, жесты, детали наружности, одежды, обстановки срастаются с событиями, становятся внешними знаками их исторического смысла» [2: 54]. Но в мемуарах Леонтьева «значимость» **деталей** определяется логикой **субъективного** отношения автора к герою. Конечно, **идейная** позиция Леонтьева не противоречит такой логике. Вопрос заключается в том, всегда ли указанные факторы позволяют писателю точно оценивать «исторический смысл» явлений.

В январе 1879 года Леонтьев направил Вс. С. Соловьеву письмо, где, среди прочего, затронул тему модернизации Японии на западный образец. Здесь он более чем резко отозвался о японском императоре («микадо») Муцухито (другое имя – Мэйдзи, по девизу правления). Это было связано с тем, что «микадо японский надел цилиндр европейский... Чего можно ожидать от Азии? - продолжил Леонтьев, – Цилиндр и сюртук – это внешний признак, как опухоль желез в чуме. А зараза, значит, уже в крови, если и одежда появилась» [10: 228]. Эпистолярная оценка общественно значимой фигуры **детализирована**, как и в мемуарном тексте. Можно указать, в чем **субъективизм** этой оценки.

В своих работах середины 1870-х – начала 1880-х годов Леонтьев, как правило, достаточно ровно отзывался о Петре I [см.: 9: по указателю имен; ср. также: 15: 191]. Между тем в конце XIX –

начале XX века общественность Японии и России сходно воспринимала фигуры Петра Великого и Муцухито–Мэйдзи [12: 257, 681, 682, 698, имя К. Н. Леонтьева в указателе имен не упоминается]. Вопрос о том, насколько Леонтьев осознавал специфику современной ему японской истории, надо считать открытым. Приведенная же оценка говорит об этом мало.

Итак, **субъективизм** и **детализация** в связи с **идейными посылами** влияли на становление не только мемуарных, но и эпистолярных текстов. И здесь уместен вопрос о самобытности Леонтьева как автора, писавшего в обоих этих жанрах.

Ю. П. Иваск, исследуя проблему стиля писем Леонтьева к членам семьи Карцовых, настаивал не только на уникальности этого стиля, но и на преемственности по отношению к нему манеры «Опавших листьев» В. В. Розанова [6: 476]. При этом Иваск писал о разнице между приемами Леонтьева и Розанова [6: 476–477, 610–611]. Он указал на неоднородное отношение Леонтьева к разным корреспондентам [6: 244–245, 471] и, видимо, поэтому слабо обобщил свои мысли об эпистолярном стиле автора. Проблема самобытности данного стиля вытеснена у Иваска проблемой самобытности разных циклов писем Леонтьева. В силу этого важно изучение переключек между письмами.

При анализе же воспоминаний Леонтьева стоит учитывать не только их своеобразие, но и типичность. Напомним о достижениях авторов, которые шли к мемуарам от автобиографической беллетристики. Так, ранняя проза А. И. Герцена (1830-е годы) и его же «Записки одного молодого человека» (опубл. 1840–41) предвосхитили позднюю работу над «Былым и думами» [2: 12–13, 112–113; 3: 217–218; 13: 195, 201–203, 234, 251, 280–282]. Путь Аполлона Григорьева позволил Б. Ф. Егорову соотнести его книгу «Мои литературные и нравственные скитальчества» (1862–64) и автобиографические сочинения 1840–50-х годов. Последние имели форму не только повести или очерка, но и письма [5: 353].

Эти поиски жанра сблизили авторские позиции в мемуарах Герцена и Григорьева. Авторы сочетали «субъективное» восприятие действительности и четкие описания социальной атмосферы. Б. Ф. Егоров, говоря о «воздействии» «Былого и дум» на Григорьева, выделил такой фактор, как связь «лиризма и историзма» [5: 358; ср. о соотношении этих начал в «Былом и думах»: 2: 78–79]. Не абсолютизируя эту связь, далее мы отметим, востребована ли она у Леонтьева, симпатизировавшего Григорьеву и Герцену [6: 449–450].

**Публицистический элемент** и вызвавшие его **идейные послы** не мешают **субъективизму** в мемуарном очерке о Григорьеве или близкой к памфлету «Моей литературной судьбе 1874–1875 года». Но среди наследия Леонтьева есть и такие мемуары, в кото-

рых **субъективизм** сложно взаимодействует с описаниями исторической обстановки («Мои воспоминания о Фракии», 1878, опубл. 1879; «Сдача Керчи в 55 году», 1886-87, опубл. 1887 и др.). Иногда Леонтьев сочетал свою манеру изложения с передачей мемуарного текста другого автора. При этом последний текст сохранял самостоятельность («Рассказ моей матери об Императрице Марии Феодоровне», 1883–85, опубл. 1887, 1891). Леонтьев нелегко расстался с **субъективизмом** и при возвращении к старым замыслам.

Это случилось в 1880-е годы, когда писатель дорабатывал «Мою литературную судьбу». Новая редакция получила заглавие «Мои дела с Тургеневым и т. д. (1851–1861)». Первые две части этого текста опубликованы под названием «Тургенев в Москве. 1851–1861 гг. (Из моих воспоминаний)» в журнале «Русский вестник» (1888, № 2–3). Полностью «Мои дела с Тургеневым...» увидели свет в 1913 году [7: IX, 69-153]. Важны следующие черты этой редакции.

С одной стороны, Леонтьев ввел в текст часть тех писем, которые Тургенев направлял ему в 1850-е годы. Действительно, этим достигнута объективная картина связей двух писателей. Мы не рассматриваем вопрос, подражал ли Леонтьев аналогичному приему Герцена в «Былом и думах» [2: 61–68, 292; 3: 224–225].

С другой стороны, от обобщенного заглавия («Моя литературная судьба») автор пришел к более **субъективному** («Мои дела с Тургеневым и т. д.»). При этом появление варианта «Тургенев в Москве...» могло не быть личной инициативой Леонтьева. Воспоминания о Тургеневе писатель готовил к печати с лета 1886 года. Не сумев опубликовать их в «Русской мысли», в «Ниве» и «Русской старине», Леонтьев хотел обратиться в «Гражданин», но в итоге принял приглашение Ф. Н. Берга, редактора «Русского вестника» после смерти Каткова [8: VI, кн. 2, 571–574]. Позиции мемуариста могли не соответствовать требованиям журналов [см. об этом в письме Леонтьева к Т. И. Филиппову от 3 июля 1887 года: 8: VI, кн. 2, 573]. Но если это и отразилось на общем мемуарном контексте, то весьма незначительно.

Тема связей Леонтьева и Тургенева вынесена на первый план в обоих окончательных вариантах заглавия. Помимо нее для биографа важна тема встреч Леонтьева с литераторами-западниками в московском салоне Евг. Тур (Е. В. Салиас де Турнемир). Но описания этих встреч достаточно слабо позволяют оценить становление писателя.

Если обратиться к письмам Леонтьева начала 1850-х годов, то очевидны его интересы, лежавшие вне западнического круга. В 1853 году Леонтьев готовил публикации своей прозы в «Отечествен-

ных Записках». Но в октябре этого года он дважды сообщал Краевскому о намерении печататься в «Москвитянине», если публикации не состоятся. Идейными соображениями это явно не было мотивировано [8: I, 642, 645–646].

Позднее Леонтьев писал о своем интересе к «Москвитянину» в «Нескольких воспоминаниях и мыслях о покойном Ап. Григорьеве». Но там не затронута тема ранних выступлений Леонтьева в печати. Имя Краевского также не названо. Зато автор описывал собственное восприятие мнений Григорьева. Тогда Леонтьев не принял его взгляды, объясняя это влиянием западников: «Даровитые и ученые люди этого круга жили все готовыми, ясными европейскими идеями и вкусами; за ними жил тем же самым и я; мне, по крайней моей молодости, казались одинаково чуждыми и Славянофилы, и Григорьев, с своим неуловимым идеалом» [8: VI, кн. 1, 9].

Надо полагать, что в начале 1850-х годов Леонтьев стоял ближе всего к западникам. На взгляд С. В. Хатунцева, «именно западничеству Леонтьев отдавал предпочтение» в «кружке» Евг. Тур [15: 64]. Но эта часть биографии писателя несходно описана им самим. Перед нами **единый мотив**, по-разному воплощенный в письмах и мемуарах Леонтьева.

В письме к Ф. П. Леонтьевой от 10 января 1855 года Леонтьев коснулся своей повести «Лето на хуторе» (1852–54, опубл. 1855). Он беспокоился, что цензура не пропускает ее, так как «ни Тургенев, ни Краевский не пишут ни слова» о судьбе данной вещи [10: 27]. В «Моей литературной судьбе» и «Моих делах с Тургеневым...» автор указал только, что он писал и печатал «Лето на хуторе», причем осудил эту повесть. Теперь он не упоминал ни о поддержке со стороны Тургенева, ни о своем беспокойстве [8: VI, кн. 1, 55-57; 7, IX, 136–137, 140]. Это вновь подтверждает, что если в письмах Леонтьев фиксировал некие детали своей жизни, то в мемуарах он мог пренебречь ими. Напомним, что писатель так же подошел к теме своих отношений с Аполлоном Григорьевым. Теперь же мы вновь видим отличия при воплощении **единого мотива** в разных текстах и жанрах. Можно сопоставить это с тем, как Герцен варьировал описания своих отношений с П. П. Медведевой в эпистолярной прозе 1830–40-х годов, а затем в «Былом и думах» [2: 258-259, 302; 3: 235, 238].

Но наследию Леонтьева присуща и обратная тенденция. Она связана с более или менее точным переносом фактов, деталей, суждений из текста в текст. Примером служит письмо Леонтьева к Н. Н. Страхову от 19 ноября 1870 года. В нем автор затронул и развил тему своих дебютов в 1850-е годы. Комментаторы отмечали, что в «Моей литературной судьбе» Леонтьев «почти дословно повторил

то, что писал» Страхову [8: VI, кн. 2, 276]. Это наблюдение сделано с учетом одного из фрагментов письма и нуждается в уточнении.

В письме Леонтьев указал: «Тургенев, сидя (в 52 или 53 году) у Мад<ам> Евг. Тур вместе со мной – сказал при Феокистове, при Корше, при професс<оре> Кудрявцеве, что он истинно *нового Слова* ждет только от Графа Толстого и от меня» [цит. по: 8: VI, кн. 2, 276]. В «Моей литературной судьбе» была приведена другая редакция той же реплики Тургенева: «...бедный Ап. Григорьев все ищет *нового слова*. <...>. Ни от меня, ни от Писемского, ни от Гончарова он *нового слова* не дожидется. – Его могут сказать только двое молодых людей, от которых можно многого ожидать, Лев Толстой и вот этот (Леонтьев – С. Д.)» [8: VI, кн. 1, 53]. Эта редакция почти без изменений была включена в текст «Моих дел с Тургеневым...» [7: IX, 133–134].

Источники термина «*новое слово*» по-разному освещены в эпистолярном и мемуарном текстах. В письме к Страхову от 19 ноября 1870 года Леонтьев ссылается лишь на имя Тургенева, причем в тексте присутствует оборот «истинно *нового Слова*». В мемуарах он усечен («*нового слова*») и в этом виде связан уже с тургеневской отсылкой к Григорьеву. Термины и контекст сходны только частично. Но фактографическая основа эпизода едина, хотя и основана на разном количестве деталей.

В данном случае мы не касаемся вопроса о роли термина «*новое слово*» в критике и эстетике Григорьева. Важно, как Леонтьев, передавая мнение Тургенева, воспроизвел этот термин в письме, а затем в мемуарном источнике. Единый эпизод переходит из текста в текст, из жанра в жанр с потерей или обретением деталей. Мотивы просматриваются тем легче, чем сильнее эпизод связан с передачей суждений, важных для автора. Но последние могут принадлежать не только ему. Тогда мотив оказывается **сквозным**.

**Единый и сквозной мотивы** могут взаимно дополнять друг друга. Тема внимания Леонтьева к «Москвитянину» выглядит в его письмах и мемуарной прозе как сочетание мотивов, из которых **единый** перешел в **сквозной**. Мотивы взаимодействуют вне связи с границами текстов. Конечно, это лишь подтверждает, что письма и воспоминания Леонтьева связаны с реакциями автора на события духовной (или социальной) жизни его времени. Исследователь не способен обойтись без отсылок к этим событиям в каждом конкретном случае.

Все приведенные нами примеры указывают на следующие тенденции эпистолярной и мемуарной прозы К. Н. Леонтьева.

Ситуативное изложение биографических фактов выступает в качестве смысловой основы того или иного текста.

Прослеживается влияние идейных интересов автора, формирующее публицистический элемент в тексте.

Важная роль субъективного авторского кругозора, с которым связаны неоднозначные описания конкретных событий.

Детализация изложения, острый интерес автора к частным предметам, в силу описания которых строятся образы и оценки реальных лиц.

Единые мотивы, воплощаемые автором разнородно.

Сквозные мотивы, в силу которых разные тексты связаны между собой, с мнениями и текстами других авторов.

Эти тенденции могут быть востребованы в отдельном тексте или группе текстов, независимо от их границ и жанра.

### Список литературы

1. Бочаров, С. Г. Сюжеты русской литературы. – М.: Язык русской культуры, 1999.
2. Гинзбург, Л. Я. «Былое и думы» Герцена. – М.; Л.: Гослитиздат, 1957.
3. Гинзбург, Л. Я. О психологической прозе. – М.: INTRADA, 1999.
4. Добряков, С. В. Литературные связи К. Н. Леонтьева и А. А. Григорьева // Х Царскосельские чтения / под ред. В. Н. Скворцова. – СПб.: ЛГУ им. А. С. Пушкина, 2006. – Т. I.
5. Егоров, Б. Ф. Художественная проза Ап. Григорьева // Воспоминания. – М.: Наука, 1988.
6. Иваск, Ю. П. Константин Леонтьев (1831–1891). Жизнь и творчество // К. Н. Леонтьев: pro et contra. Личность и творчество Константина Леонтьева в оценке русских мыслителей и исследователей после 1917 г.: Антология. – СПб.: РХГИ, 1995. – Кн. 2.
7. Леонтьев, К. Собр. соч.: в 9 т. – М.; СПб., 1912–1913.
8. Леонтьев, К. Н. Полн. собр. соч. и писем: в 12 т. / подготовка текста и коммент. В. А. Котельникова, О. Л. Фетисенко. – СПб.: Владимир Даль, 2000.
9. Леонтьев, К. Н. Восток, Россия и Славянство. Философская и политическая публицистика. Духовная проза (1872–1891) / общ. ред., подг. текста и коммент. Г. Б. Кремнева, вступит. ст. и коммент. В. И. Косика. – М.: Республика, 1996.
10. Леонтьев, К. Избранные письма. 1854–1891 / публ., предисл. и коммент. Д. Соловьева; вступ. ст. С. Носова. – СПб.: Пушкинский фонд, 1993.
11. Майорова, О. Е. Мемуары как форма авторефлексии. К истории неосуществленного замысла Константина Леонтьева // Лица. Биографический альманах. – М.; СПб.: Феникс – Atheneum, 1995. – Вып. 6.
12. Мещеряков, А. Н. Император Мэйдзи и его Япония. – М., 2006.
13. Нович, И. С. Молодой Герцен. Страницы жизни и творчества. – 2-е изд. – М.: Сов. писатель, 1986.
14. Тынянов, Ю. Н. Литературный факт // Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. – М.: Наука, 1977.
15. Хатунцев, С. В. Константин Леонтьев. Интеллектуальная биография. 1850–1874 гг. – СПб.: Алетейя, 2007.

**Образы ангела и демона в поэтических видениях А. А. Фета**

Статья посвящена одной из линий религиозно-философской поэзии А. А. Фета – теме образов ангелов и демонов, которая является сквозной в русской поэзии в целом. Эти образы отражают опыт интуитивных творческих прозрений поэта и специфику его духовной личности. В поэтических видениях Фета образы ангела (ангел-хранитель, ангелы, поющие хвалу Богу, горние существа, соприродные человеку) и демона (сила зла, образ главенствующего искушения – дух сомнения, иронии и холодного презрения к высокому) созвучны христианской традиции.

The article provides a study in one of the subjects of theo-philosophic lyrics by A. A. Fet – the poetic images of angels and daemons – which in itself makes the tenor of Russian poetry in general. These images reflect the advancement of the poet's accumulated artistic intuitive insight and the originality of his inner mind. Fet's poetic vision of angels (like guardian angels, angels giving praise to God, or celestial creatures in likeness to the man) and daemons (evil spirits, the image of the supreme temptation, i.e. doubt, irony and cold disdain for the High) remain in harmony with the tradition of the Church.

*Ключевые слова:* А. А. Фет, философская поэзия, христианская традиция, поэтический образ.

Хорошо известно, что А. А. Фет решительно отрицал философскую поэзию; подчас в полемическом запале борьбы он высказывал на этот счет резкие суждения. Но если противостояние духу времени, свойственное Фету, вынести за скобки, то в них можно обнаружить, что объектом его неприятия является именно рационализм, рассудочные пути мысли в стремлении к Истине. Поэт противопоставлял разум и ум, мысли и думы: первое связано с временным и тленным, второе с бесконечным. Опыт постижения сущности вещей, данный самому поэту, – это опыт чувства, опыт интуитивного проникновения в высшее. «Разум не двигатель, а контролер-бухгалтер <...>. Бог сидит в чувстве, и если Его там нет, разум Его не найдет» [4: 30]; «разум – ходячая монета всего рода человеческого...», «интуитивная сила прочнее, вернее <...>, кровнее, наследственней – индивидуальней» [5: 52–53]. Жажда горнего, врожденный запрос бесконечного [1: 17] – одна из определяющих особенностей духовного мира Фета, и реализации этой жажды истины поэт ищет не на путях рассудочного мышления, но в опыте сердца, в интуитивных и творческих прозрениях.

---

Кандидат филологических наук, доцент, Санкт-Петербургский государственный университет.

В поэзии Фета складывается целый корпус стихотворений, которые можно отнести к лирике духовной и философской, в которой воплощены не просто лирические переживания (таковых стихотворений у Фета большинство), но и «думы» поэта. К ним можно отнести около сотни стихотворений из 674 его полного собрания стихов. Но их «поэтической мысли», «поэтическому содержанию» – эти понятия Фет сформулировал в статье «О стихотворениях Ф. И. Тютчева» (1859) – как ни странно, исследователями уделялось немного внимания.

В обозначенной группе стихотворений Фета можно выделить ряд тематических линий, соотносимых с важнейшими лейтмотивами русской философской поэзии в целом: мир горний, Бог, мир природный, человек, путь поэта, смысл поэтического творчества и красоты, смерть и посмертие и др. Анализ этих аспектов требует внимания именно к «поэтическому содержанию» стихотворений.

Обратимся здесь к теме ангельских и демонских видений поэта – это тоже одна из сквозных линий в русской лирике: у каждого поэта есть свой ангел и свой демон, начиная с пушкинских «Ангел» и «Мой демон», Пушкин здесь, как и во многих иных ситуациях, дал совершенное выражение темам, звучавшим ранее, и заложил традицию будущего их развития. В ней демон стал образом главенствующего искушения, подступающего к душе поэта и осознанного им, и стихи о демоне есть не что иное, как опыт самопознания поэта, опыт распознавания зла, столь значимый в православной аскетической традиции. Образ же ангела отражает горний идеал поэта, его представления о мире высшем.

Подобные поэтические образы характерны для всего творческого пути Фета. Это не случайно, ведь Фет с детства был глубоко причастен православному строю бытия, о чем свидетельствуют его мемуары. Так, он вспоминает о том, как была расписана крепостным живописцем каменная церковь в их приходе: «Еще теперь помню двух ангелов в северном и южном углах церкви: один с новозаветным крестом в руках, а другой с ветхозаветными скрижалями. Как удачно живописец накинул полупрозрачное покрывало на лик ветхозаветного ангела, намекая тем на учение прообраования» [6: 48–49]. Это созерцание ангелов, умение читать символизм изображений и хорошее богословское образование, полученное в семье, позднее будет отзываться в стихах поэта, в его чуткости к образам Предания.

Первый, ангельский ряд открывается в поэзии Фета стихотворением «Ночь тиха. По тверди зыбкой...» (1843), первым, в котором поэт обращается к евангельскому сюжету – к теме Рождества Христова, центральный образ – Божья Матерь. Оно начинается с описания ночного звездного неба – взгляд к горнему, затем – к земле, к

яслям и юной Матери: «Ясли тихо светят взору, // Озарен Мариин лик...» – рядом с Ней пастухи, радующиеся вместе с Ангелами, которые «в вышних // Славят Бога...» (цитата из Евангелия – Лк. 2: 14). Образ ангелов рождается у Фета в связи с ангельским славословием, хвалебной молитвой, с которой в единстве звучит и звездный хор: «Звездный хор к иному хору // Слухом трепетным приник». Духовный слух поэта, источник переживания, сменяется в стихотворении «Серенада» (1844) духовным зрением: звезды созерцаются как ангельские очи («Блещут ангельские очи, // Трепетно светя...»). Далее («Тихо ночью на степи...», 1847) разворачивается тот же образ – звезды как часть горнего, не затронутого грехом мира: «Звезды ж крупные в лучах // Говорят на небесах: // Вечный Свят, Свят, Свят!» – славословие звезд, звездный хор этого стихотворения есть Трисвятое песнопение Входа, звучащее на Литургии, восходящее к видению Исаяи (6: 1–3), в котором серафимы взывали: «Свят, Свят, Свят Господь Саваоф! вся земля полна славы Его!», – и к Апокалипсису: «Свят, Свят, Свят Господь Бог Вседержитель, Который был, есть и грядет» (Откр. 4: 8). Надмирная хвала горних духов, воспринимаемая поэтом в звездном хоре, отражается в его душе состоянием мира и особенной, тонкой одухотворенности, которая выражена в образе *молчащего* крыла (крыло есть символ полета, устремленности к горнему, и эта интенция души дана в тональности благоговейной тишины), и в тишине поэт слышит, как пушкинский пророк, «горний ангелов полет», точнее, его созерцает в падающей звезде: «...Нет движенья; лишь порой // Бриллиантовой слезой // Ангел пролетит».

Образ ангела в фетовских стихах неизменно будет изысканным и утонченно-духовным. Фрагментарный в названных выше стихах, в стихотворении – «Видение» (1843) образ будет развернут в ангельское видение: «Не ночью, не лживо // Во сне пролетало виденье; // Свершилось диво: // Земле подобает смиренье». Лаконична и точна мысль поэта: произошедшее есть чудо (не лживое сновиденье), диво, то есть то, чего земля недостойна, земное должно признать себя таковым, ведь, согласно безупречно точной в православном контексте формуле поэта, *земле подобает смиренье*: чудо произошло не по заслуге, а по милости.

Чудесное виденье связано с Киево-Печерской Лаврой, с преданием о построении церкви, и видение строителей Лавры описано так, как будто его переживает сам поэт: это его взгляд устремлен к безлюдным пока еще Киевским горам: «Прозрачные тучи // Над дикой Печерской горою...», выше них – в небо, к тучам, на фоне которых он, как и строители храма, перевоплощаясь, проникая в их видение, созерцает ангелов:

И юноши в белом  
Летели от края до края,

Прославленным телом  
Очам умиленным сияя.

А над тучами «все выше, в сиянии славы, // Заметно для ока // Вставали Печерские главы...». Так реальные храмы напомнили поэту о видении, открывшемся когда-то *умиленным очам* строителей Лавры (эта катехреза соединяет представление о сердечном умилении и благоговейном созерцании). Поэт видит своим умственным взором то, что пребывает – что когда-то созерцали они: ангелы по-прежнему парят над церковными главами в небесах. Глядя на храмы, он видит их сияющий в небе первообраз. Так отразилось в мистически чуткой душе поэта известное предание.

«Мой ангел» (1847), второе стихотворение в жанровой форме видения, – это духовное созерцание ангела-хранителя: «Как он прекрасен, // Гость-небожитель! // Он не состарился // С первой улыбки моей в колыбели...». Далее оно сменяется воспоминанием о детском видении, когда ангел предстал, «...играя // Златыми плодами // Под вечную райскую пальмою...». Но идиллически-детский образ неожиданно меняет тональность: ангел показывает ребенку совсем не детскую картину: указывает

...На Матерь-Деву  
Страдальца Голгофы – и подле  
Двенадцать престолов во славе.

В стихотворении с его обрамляющей мыслью о неизменности ангела (в конце: «Он тот же, все тот же – // Кудрявый, с улыбкой, // В одежде блистательно-белой, // С любовью во взоре – // Мой ангел-хранитель»), изумительно именно центральное видение: Богоматерь показана ангелом-хранителем не как Мать божественного Младенца, но в страдающем Своем лике, как Мать Христа Распятого, *Страдальца Голгофы*, и рядом с Ней – двенадцать апостолов во славе, с образами которых связана идея Суда («...когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на двенадцати престолах судить двенадцать колен Израилевых» – Мф. 19: 28), – как будто страдание Богоматери и Голгофа Христа влечет за собой немедленно, в логике грозного и столь недетского видения, Суд и воздаяние. Переживание, которое стало основой для этого одновременно и ангельски-светлого и мучительного видения, останется тайной поэта, о подобных событиях своей жизни Фет иначе как в стихах, не поведал никому, в силу того качества, которое Д. Дарский назвал утонченной духовной стыдливостью поэта [2: 18].

Ангельские образы часто у Фета соотносятся с темой рая: поэт обладал особенным даром созерцания райской, утраченной красоты в земных явлениях, отголосков ее и отзвуков. С темой изгнания из рая связан образ ангелов в стихотворении «Когда у райских врат изгнанник...» (1856), в нем звучит мотив униженности и немоты Адама перед

закрытыми вратами, а далее рождается яркая и самобытная мысль: Творец снисходит к его мольбам: «Крылатых стражей легионы // Адама внукам он послал». И ангелы-хранители порой в земной битве «улыбаются» нам «с родного неба». Эти небесные духи-утешители различны, соответственно различны и земные судьбы людей, и следующим ходом мысли стихотворения Фет, обращаясь к адресату стихотворения, описывает его Ангела: «Твой Ангел – перьев лебединых // Не распускает за спиной: // Он на крылах летит орлиных, // Поникнув грустно головой. // В руке пророческая лира, // В другой – горящий Божий гром; // Так на твоём в пустыне мира // Он камне станет гробовом». Так поэт созерцает не только своего ангела-хранителя, но и воплощенный жребий другого человека.

Демон Фета впервые проявляет себя в стихотворении с ироническим названием «Добрый день» (1847) – демонские видения разворачиваются в тот же период 1840-х годов, что и ангельские. Образ демона, в полном согласии с русской поэтической традицией изображать своего демона как свой главенствующий соблазн, может приоткрыть тайну личности поэта, которую он ревниво оберегал от окружающих. Как и у многих русских поэтов, демон Фета – это дух зла, отрицания, иронии. Он связан со стихией дня: «Вот снова ночь с своей тоской бессонной // Дрожит при блеске дня. // С улыбкою мой демон искушенный // Взирает на меня». Основная черта демона – опытность во зле, искушенность, умение читать в душе человека: «он знает все» – «улыбку, вздох и слезы», «бессонницу и грезы», знает слова, которые будут сказаны поэтом, знает, «чем дума занята», и ему смешно все то, что он читает, как по книге.

Мой мраморный, блестящий и холодный,  
Мой прорицатель дня,  
С улыбкой злой и гордо-благородной  
Он смотрит на меня.

Стихия дня – обыденной жизни и здравого смысла – противостоит в лирике Фета стихии ночи – подлинной жизни сердца, интуиции и поэзии. Демон – здравый смысл и холодная блестящая логика в маске благородства – злобно насмеяется над возвышенными грезами поэта. Это искушение в духовной сфере осознает здесь поэт – осмеять в собственной душе то, что в ней первостепенно для жизни, взглянуть на себя с отстраненной, внешней и иронической позиции дневного сознания. Для внутреннего мира поэта это будет весьма значительное искушение – Фет выговаривает здесь нечто существенное: стыдиться высокого в себе, бояться осмеяния есть не что иное, как демоническое воздействие.

Тот же дух злобы являет себя в стихотворении Фета «В пору любви, мечты, свободы...» (1855) – в счастливую пору детства и юности поэт не знал «душевной непогоды», то есть воздействия зла

на душу, не верил, «...что будто по душе иной // Проходит злоба полосами, // Как тень от тучи громовой». Зло в человеке, как тень от громовой тучи, – этот точный фетовский образ выражает мысль о природе зла: туча есть сам дух зла, а его тень – тень от тучи, падающая вниз, в человеческие души, есть проникшее в человека зло, которое полосами захватывает его внутренний мир. В пору жизненных испытаний (так развивается мысль стихотворения) пришлось «отрезвиться» – увидеть зло, зло в себе самом (в соответствии с важнейшим требованием аскетики), увидеть ту самую тень от тучи в своей душе. И это есть опыт познания собственной природы, обретаемый на христианских путях. Всю глубину зла и его внутренней неодолимости оценить сразу невозможно, оно раскрывается постепенно: «...В душе сокрыта, // Беда спала... Но знал ли я, // Как живуща, как ядовита // Эдема старая змея!». Зло предстает в образе библейского змия, который искушал Адама в Раю, и его «тяжкое крыло», его присутствие, «слышит» порой поэт духовным слухом:

Находят дни: с самим собою  
Бороться сердцу тяжело...  
И духа злобы над собою  
Я слышу тяжкое крыло.

Победить зло в себе оказалось несравненно труднее иных «побед» над собой («горе подавлять в себе», «улыбаться» людям): «знал ли я...!» – восклицает поэт. Зло внутреннее распознается им как воздействие внешней силы зла – в соответствии со святоотеческим учением.

Отметим здесь попутно еще одно стихотворение, в котором появляется образ зла, – «Прекрасная, она стояла тихо...» (1847). Молящаяся прекрасная девушка и ее брат-младенец – эта «прекрасная» (эпитет повторен трижды) картина воспринята глазами героя, вероятно, Фауста, рядом с которым – дух зла, тот же древний змий, «допотопный», всю чистоту картины и смирение молитвы старающийся снизить своей иронией, которая, однако, явно неубедительна и недействительна, как и само стремление духа зла опустошить одухотворенную картину:

Со мною рядом тут же допотопный  
И умный франт, незримый для людей,  
Хотя б из дружбы придал он сарказму  
Бесчувственной иронии своей.

Действительно, у Фета совсем нет поэтизации зла, здесь дух зла, дух иронии сам вызывает ироническое отношение к себе. В поэзии Фета, как писал Н. Н. Страхов, нет увлечения демонизмом [3: 16], свет есть свет, зло есть зло, и дух зла опознан как источник скепсиса и всеотрицающей иронии.

В «Вечерних огнях», в поздних стихах, в круг «дум» поэта по-прежнему входят существа мира высшего. Но если в 40-е и 50-е годы, эти думы воплощали глубинный опыт души, ее интуитивные прозрения, то в 80-е годы, когда внутренний мир поэта оказался под существенным воздействием немецкой философии, не только думы, но и мысли включаются в круг «поэтического содержания» фетовских стихотворений. Размышления об ангелах (исповедальность темы демона не возвращается в эти годы) звучат не в тональности личного признания, а в философско-религиозных размышлениях общего, даже отвлеченного характера.

«Не тем, Господь, могуч, непостижим...» (1879) – своего рода «рассуждение о Божием величестве». Не земные чудеса вызывают здесь восхищенную мысль о величии Творца, не созерцание здешнего солнца, зажженного Его Серафимом для вселенной, но сама человеческая душа:

...я сам, бессильный и мгновенный,  
Ношу в груди, как оный Серафим,  
Огонь сильней и ярче всей вселенной...

Здесь поэт в осмыслении вечной сущности человеческой души как пылающего ярче солнц огня уподобляет человека Серафиму, даже Богу. Бог непостижим прежде всего тем, что создал свой образ и свое подобие – в брэнном человеке – такова христианская идея этого стихотворения, со всей подлинностью восхищения пережитая поэтом. Так созерцали святые отцы сущность человеческих душ – в виде вечного пламени, которое невозможно видеть земными очами, иначе человек почувствовал бы себя вверженным в печь огненную. Так увидел Мотовилов духовными очами святого Серафима – сияющим ярче Солнца. Нечто подобное постигает в своем опыте и поэт.

Подобная же мысль о соприродности души вечному духу в ее первоначальном переживании была выражена и в стихотворении 1865 г. «Как нежишь ты, серебряная ночь...»: звездная ночь дарит поэту возможность пережить высокое откровение: «Мой дух, о ночь, как падший Серафим, // Признал родство с нетленной жизнью звездной...». Здесь человеческий дух соотносится с духом падшего ангела, тоже утратившего горний мир и осмысляется как изначально родственный со звездами – с миром до грехопадения. Как и падшие духи, человек когда-то был соприроден миру звезд, еще не будучи подверженным греху, и это переживание родства с нетленной жизнью есть переживание бессмертия.

Тема человека и Бога продолжает свое развитие в стихотворении «Я потрясен, когда кругом...» (1785). Потрясенность души величием и силой стихий Божьего мира несоизмерима с возможностью пережить дарованное Богом соприкосновение с неземным: «Но просветленный и немой, // Овеян властью неземной, // Стою не

в этот миг тяжелый, // А в час, когда, как бы во сне, // Твой светлый ангел шепчет мне // Неизреченные глаголы». Здесь легко узнаваема весьма ответственная цитата из ап. Павла, говорящего о человеке, который «был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать» (2 Кор. 12:4). Речь у поэта идет о глубинном просветляющем опыте встречи с высшим бытием, и источник «неизреченных глаголов» – «светлый ангел».

Стоит отметить, что фрагментарные образы ангелов в поздней поэзии Фета даже более многочисленны, чем в ранней: Пушкин назван «зрителем *ангелов*»; в стихотворении о Христе «...*ангелы* пришли // В пустыне ждуть Его велений», о Божьей Матери – «Как *ангелов*, младенцев окрыленных, // Узришь и нас, о Дева!...»; в стихотворении о неожиданных дождевых тучах в засуху поэт вопрошает: «Какой *Архангел* их крылом // Ко мне на нивы навевает?»; в стихах о любви звучит: «Из-под ресниц твоих шелковых // Заглянет *ангел* голубой», «Мне *ангел* кротости и грусти отзовется // На имя нежное твое», «Дохнул я струею и чистой, и страстной // У пленного *ангела* с веющих крыл..». Ряд ангельских образов появляется в стихотворных поздравлениях разным адресатам ко дню ангела – в стихотворениях на случай. В поздних ангельских образах звучат отголоски ранних возвышенных видений, с прежней изысканностью и утонченностью, хотя и без прежней глубинной исповедальности, порой с большей строгостью мысли о Боге, порой с душевной тонкостью лирической эмоции.

Характерно, что тема ангельских и демонских видений звучит чаще всего в стихотворениях Фета, им самим не опубликованных или же опубликованных единожды (тогда как стихотворения не духовной, но душевной тематики переходили из сборника в сборник). Как будто для поэта духовная тема как «содержание» стихотворения была не вполне признана, или же чересчур откровенна, глубинно интимна.

И если порой в стихах позднего Фета сталкиваются скептические рассуждения и высокая христианская религиозность (что есть проявления разных сфер единого сознания – рассудочной логики и духовной интуиции, пробуждаемой в творчестве), то тема ангельских и демонских видений остается всецело в контексте веры, интуиции, сердечного знания. Эти стихотворения в поток душевной жизни, отраженной в лирике, вносят особенные, глубинно, религиозно звучащие ноты. Здесь не рациональная философия, не голос разума, но это подлинный опыт души, ее творческих прозрений, разворачивающийся в русле христианской традиции.

### Список литературы

1. Благой, Д.Д. Мир как красота / Фет, А.А. // Вечерние огни. – М.: Наука, 1971.

2. Дарский, Д.С. Радость земли. Исследование лирики Фета. – М.: Издательство К.Ф. Некрасова, 1916.
3. Страхов, Н.Н. А.А. Фет. Биографический очерк / Фет, А.А. // Полн. собр. соч. – СПб., 1912.
4. Фет, А.А. Письмо Л.Н.Толстому от 15 сентября 1878 г. / Толстой, Л.Н. Переписка с русскими писателями: в 2 т.– М.: Худ. лит., 1978. – Т. 2.
5. Фет, А.А. Письмо Л.Н.Толстому от 19 февраля 1879 г. / Толстой, Л.Н. Переписка с русскими писателями: в 2 т.– М.: Худ. лит., 1978. – Т. 2.
6. Фет, А.А. Воспоминания. – М.: Правда, 1983.

**О возникновении концепта «живая жизнь» у Достоевского**

В статье рассматривается история проникновения концепта «живая жизнь» в русскую литературу и в произведения Достоевского. Отмечается, что в стихотворении Н. Языкова 1829 года выражение «живая жизнь» было впервые употреблено на русском языке. Вносятся уточнения в существующие представления об использовании данного концепта славянофилами. Рассматриваются различные значения выражения «живая жизнь» в текстах Ап. Григорьева и Достоевского. Делаются выводы о сложности этого концепта у Достоевского и перспективности его изучения.

The article features the background of penetration of the «live life» concept into the Russian Literature and into the works by Dostoevskii. The author notes that the phrase «live life» for the first time in the Russian Language was used by Jazykov in a verse in 1829. Clarifications are made of the existing ideas of the use of this concept by Slavophiles. Different meanings of the phrase «live life» in the texts by Ap. Grigoriev and Dostoevskii are scrutinized. Conclusions are made about the complexity of this concept with Dostoevskii and future prospects for studying it.

*Ключевые слова:* концепт, славянофильство, почвенничество.

Концепт «живая жизнь» играет важную роль в художественных и публицистических произведениях Достоевского, однако до сих пор не существует специальных работ, посвященных вопросу о его происхождении, смысловых оттенках и культурном контексте, в котором он функционировал.

В академическом Полном собрании сочинений Достоевского примечания к «Запискам из подполья» [10: V, 374–386], где впервые писателем используется выражение «живая жизнь», оставляют его без комментария. Он появляется в семнадцатом томе в примечаниях к роману «Подросток». Автор комментария Г.Я. Галаган указывает на значимость понятия «живая жизнь» для Достоевского. В характеристике этого понятия исследовательница опирается на статью В.Л. Комаровича «Роман „Подросток“ как художественное единство» [21: 33–34 и др.]: «Понятие „живая жизнь“ В.Л. Комарович связывал с традициями старших славянофилов, употреблявших слово „живой“ в смысле „истинно сущий“. Термины „живое знание“, „живознание“ неоднократно встречаются в таких, например, работах А.С. Хомякова, как „Второе письмо о философии к Ю.Ф. Самарину“ и „Разговор в

---

\* Кандидат филологических наук, доцент, Петрозаводский государственный университет.

Подмосковной“. Понятие „живая жизнь“ в смысле истинная, „горячая“ употребляется и И.В. Киреевским в статье „Жизнь Стефенса“». Г.Я. Галаган предположила, что к Шеллингу восходит представление о «живой жизни» и у славянофилов и у Герцена [10: XVII, 287], который использовал его в письме 1859 г., опубликованном в «Сборнике посмертных статей А.И. Герцена» (Женева, 1870): «Отношение доктрины к предмету есть религиозное отношение, то есть отношение с точки зрения вечности; временное, преходящее, лица, события, поколения едва входят в Campo Santo науки или входят уже очищенные от живой жизни, вроде гербария логических теней» [2: IX, 251]. Приведенные положения легли в основу комментариев к «Запискам из подполья» в последующих изданиях сочинений Достоевского [11: IV, 772; 12: VI, 676–677].

В 1981 г. в журнале «Русская речь» были опубликованы две статьи, в которых затрагивался вопрос об использовании в отечественной культуре выражения «живая жизнь» и о его происхождении. Автор первой статьи отмечает: «влияние немецкого языка на сочетание *живая жизнь* в русском языке кажется несомненным в связи с общим влиянием немецкой философии на философские истоки марксизма» [9: 7]. Непонятно, почему появление в русском языке выражения «живая жизнь» связывается с марксизмом. Также обращает на себя внимание тот факт, что не приводятся цитаты из сочинений представителей немецкой классической философии, в которых встречалось бы сочетание «живая жизнь». Зато автор второй статьи отмечает: «Можно указать не гипотетический, а точный источник выражения „живая жизнь“. Это – трагедия Ф. Шиллера „Мессинская невеста“ (1803). Там есть строка: „Жизнь в ней живая!...“.

В оригинале это место звучит так: „ein lebendiges Leben“» [22: 11].

Скорее всего, именно в поэзии (а не в философии или публицистике) родилось новое слово. Знакомством с немецкой культурой объясняется использование словосочетания «живая жизнь» в 1829 году бывшим дерптским студентом (в университете г. Дерпта – нынешнего Тарту – преподавание велось немецкими профессорами и на немецком языке) Николаем Языковым в стихотворении «Прощальная песня»:

Могучий Бог ведет меня далече  
От вас, моих сограждан-бурсаков:  
Найду ли где поэзию трудов,  
Наш дивный быт и пламенное вече,  
Живую жизнь и мысли без оков? [24: 237–238]

Кстати, это стихотворение, впервые опубликованное в «Невском альманахе» на 1830 год, впоследствии вошло в состав сборника «Русская лирическая поэзия для девиц» [17: 103]. Есть основания полагать, что указанный сборник имел в виду Достоевский в романе «Идиот» [10: VIII, 51; см. об этом: 15: 281–282].

Как уже говорилось, Г.Я. Галаган первое употребление словосочетания «живая жизнь» связывает с одной из статей 1845 года Ивана Киреевского («Жизнь Стефенса»). Очевидно, это не совсем так. Киреевскому выражение «живая жизнь» могло стать известным как раз от Языкова, стихи которого публиковались в журнале Киреевского «Европеец» в начале 30-х годов. В 1834 г. Киреевский использовал выражение «потребность жизни живее» (т. е. потребность в том, чтобы жизнь стала живее) (в статье «О русских писательницах») [14: 101]. Строго говоря, в работе «Жизнь Стефенса» слова «живая жизнь» Киреевскому не принадлежат: они содержатся в той части, которая представляет собой перевод автобиографии Х. Стефенса, и выполнен этот перевод был матерью И. Киреевского А.П. Елагиной [14: 354; 18: 221]. Х. Стефенс вспоминает о том, как он пытался примирить науку, преподавание и жизнь: «И то, что тогда казалось мне чуждым, чем-то отделенным от всего остального, от свежей, живой жизни, простою игрою остроумия – предстало мне теперь в виде значительной Науки. <...> Что был школьный формализм в сравнении с горячею, живою жизнью?» [13: II, 96].

Именно благодаря московскому кружку славянофилов это словосочетание получило распространение в русской культуре. В 1840 году Ю.Ф. Самарин использует его в письме к К.С. Аксакову: «Каждый человек одарен природою потребностью живой, действительной жизни» [19: XII, 17]. Вскоре выражение «живая жизнь» появляется в работе К. Аксакова «Несколько слов о поэме Гоголя: Похождения Чичикова, или Мертвые души» (1842). Говоря о новом произведении Гоголя, критик восхищается тем, что в нем «все от начала до конца полно одной неослабной, неустоящей, живой жизни, той жизни, которою живет предмет, перенесенный весь и свободно без малейшей утраты в область искусства; жизнь всюду, в каждой строке <...>» [1: 80]. Через пять лет К. Аксаков употребляет понятие «живая жизнь» как синоним жизни «народной», противопоставляемой «отвлеченности эгоизма» [1: 148] («Три критические статьи г-на Имрек», 1847).

Вышедший из того же круга «любомудров», что и Киреевский, кн. В.Ф. Одоевский упоминает о «живой жизни» в романе «Русские ночи» (в конце «Ночи седьмой»), опубликованном в 1844 г. Здесь «живая жизнь» – это естественная для организма (растения,

человека), согреваемая любовью среда, которую не могут заменить никакие искусственные условия: «Думали, что можно исправить человека, как растение, пересадя его в теплицу; кажется, разочли очень верно все законы природы, которые могут на него действовать, свет, воздух, но забыли одно: силу любви, двигающей горами; пока растение в теплице – оно, кажется, излечилось, исправилось; едва попало на прежнюю почву, все труды над ним потеряны, ибо живой жизни ему не дали» [16: 102–103].

Таким образом, выражение «живая жизнь» пусть не часто, но встречается в русской литературе 20–40-х годов XIX века. Все указанные случаи могли быть известны Достоевскому и повлиять на его творчество. Но вот кто несомненно актуализировал для автора «Записок из подполья» понятие-образ «живой жизни» – так это Аполлон Григорьев, ведущий критик в журнале братьев Достоевских «Время».

В № 2 журнала «Время» за 1861 год появляется статья Ап. Григорьева «Народность и литература». Автор выступает в ней против отвлеченности, теоретичности взглядов у представителей двух основных направлений в современной ему отечественной культуре – западников и славянофилов. «Западничество с готовыми мерками, со взятыми напрокат данными приступило к живой жизни». Но и славянофилы, «<...> отвечая на теорию западничества, постоянно завлекались тоже в теорию, которая, в сущности, как и всякая теория, мало уважала живую жизнь» [20: 287].

Для Ап. Григорьева одним из проявлений «живой жизни» является искусство, именно поэтому ему противопоказан дидактизм. О драме Л. Мея «Псковитянка» критик пишет: «Перед вами нет живых лиц и живой жизни: вместо них фигуры с ярлыками на лбу» [3: 137–138].

«Теории» Ап. Григорьев предпочитает «идеал» как не противоречащий «живой жизни»: «Когда идеал лежит в душе человеческой, признается за нечто вечное, неизменное, всегда и во все времена ей одинаково присущее – он не требует никакой ломки фактов живой жизни; он ко всем равно приложим и все равно судит» [4: 52].

В статье «Оппозиция застоя: Черты из истории мракобесия» Ап. Григорьев касается вопроса об отношениях между религией и светской культурой. Он критикует тех журналистов (прежде всего, из таких изданий, как «Маяк» и «Домашняя беседа»), которые о театральные и литературные произведения судят с жестких позиций и обвиняют их авторов и героев в антихристианстве. Ап. Григорьев сравнивает борьбу с театром у представителей раннего христианства и у современных ему ревнителей благочестия: «Одним словом, это была борьба духа с плотью, отжившею и

извращенною буквою, тогда как у наших мраколюбцев стало это – борьбою мертвой буквы против живой жизни» [5: 74]. Ограниченной, пуристской позиции «Маяка» и «Домашней беседы» в статье противопоставляется направление «Москвитянина»: «Оно верило в живую жизнь, и несло по ее волнам, нередко с илом и тиною» [5: 70].

Дважды выражение «живая жизнь» появляется у Ап. Григорьева в статьях, посвященных творчеству Л.Н. Толстого. В первом случае оно связывается с понятиями «род» и «община», которые были предметами дискуссий между западниками и славянофилами (оппоненты, так сказать, писали одно из этих слов на своих знаменах). Григорьев полагает, что споры бы не были столь горячими, «<...> если бы корнями своими эти „ученые понятия“ не вращались в живую жизнь, не определяли бы так или иначе ее значение в прошлом, настоящем и будущем» [6: 19].

Высокое светское происхождение писателя не закрывает для него возможности чувствовать и изображать «живую жизнь»: «<...> становится понятным, когда читаешь этюды Толстого, каким образом, несмотря на ту же исключительную сферу, натура Пушкина сохранила в себе живую струю народной, широкой и общей жизни, способность и понимать эту живую жизнь и глубоко ей сочувствовать и временами даже с нею отождествляться» [7: 55].

В использовании Аполлоном Григорьевым понятия «живая жизнь» обращает на себя отсутствие жесткой идеологической или социальной привязки. «Живая жизнь» проявляется и в быту и в литературе, в народном бытии и в существовании высших сословий, в спорах представителей противоположных идейных направлений, в христианской практике и в сфере театральной. Единственное, что ей противопоказано, – это формализация, регламентация, теоретическое засушивание. В «живой жизни» всегда сохраняется элемент непредсказуемости, противоречивости, «соринки», подчеркивающие ее живой, а не искусственный характер. В стихах Ап. Григорьева дух жизни может быть назван «лукавым»:

Не отдавайся тайным мукам,  
**Когда лукавый жизни дух**  
Тебе то образом, то звуком  
Волнует грудь и дразнит слух!

Не отдавайся... С ним опасно  
Непозволительно шутить...  
Он сам живет и учит жить  
Полно, широко, вольно, страстно!

Из стихотворения «Больная птичка запертая...», 1858 [8: I, 124].

«Лукавый жизни дух» Ап. Григорьева, конечно же, это не совсем то, что «дух жизни» Хомякова, который заключает в себе начало христианской свободы и веры, но скрывается именно в «былом» или в «грядущих днях», а не здесь и не сейчас. Так, обращаясь к России, Хомяков восклицал:

О, вспомни свой удел высокой!  
Былое в сердце воскреси  
И в нем сокрытого глубоко  
Ты духа жизни допроси!

«России», 1839 [23: 112].

Образ «живой жизни» из статей Ап. Григорьева 1861–1862 годов переключался в его стихи. В поэме «Вверх по Волге» (1862) автор, описав страстное свидание с возлюбленной, спрашивает своего учителя (М.П. Погодина), может ли тот дать *этому* название (отрицательный ответ очевиден):

**Ведь это не вопрос норманской**  
Не древность азбуки славянской,  
Не княжеских усобиц ряд...  
В живой крови скальпéль потонет,  
Живая жизнь под ним застонет,  
А хартии твои молчат,  
Неловко ль, ловко ль кто их тронет [8: I, 237].

Повесть Достоевского «Записки из подполья» (1864) была своеобразным продолжением поэмы Ап. Григорьева «Вверх по Волге». Неслучайно она вызвала одобрение критика. Позднее в письме к Н.Н. Страхову Достоевский вспоминал «слова Ап. Григорьева, похвалившего мои „Записки из подполья“ и сказавшего мне тогда: „Ты в этом роде и пиши“» [10: XXIX/1, 32]. Видимо, Ап. Григорьев нашел здесь нечто близкое себе, своему представлению о жизни.

В обоих произведениях изображены отношения героя с падшей женщиной, заканчивающиеся разрывом. И в поэме, и в повести представлена амбивалентность страстей, владеющих человеком. Но у Достоевского, впервые использовавшего здесь выражение «живая жизнь», в тезаурус данного понятия входят смысловые элементы, которые не акцентировались Григорьевым. Это гармоничная (не амбивалентная) любовь и прощение.

Герой «Записок из подполья», именно потому, что «от „живой жизни“ отвык», представляет любовь лишь как борьбу, завоевание и не знает, «что делать с покоренным предметом». Любовь Лизы вызывает его на то, чтобы покончить с привычным для него одиночеством, к чему он не готов (интимобия). «„Живая жизнь“ с

непривычки придавила меня до того, что даже дышать стало трудно» [10: V, 176].

После того, как Лиза оставила его, герой не дает хода проявляющейся в нем жажде раскаяния. «Упасть перед ней, зарыдать от раскаяния, целовать ее ноги, молить о прощении! Я и хотел этого; вся грудь моя разрывалась на части <...>» [10: V, 177]. Но «подпольный» не верит в прочность своего раскаяния, он дитя века сомнения и душевной перверсии и предпочитает рассуждать о возвышающей силе ненависти, а не любви: «оскорбление возвысит и очистит ее... ненавистью... гм... может и прощением» [10: V, 178]. Реальная возможность полюбить и простить и быть прощенным пугает, потому что не вписывается в привычные для развитого человека XIX века представления о войне каждого против всех и о любви-ненависти, которая не сближает, а еще больше разделяет. «<...> Мы все отвыкли от жизни, все хромаем, всякий более или менее. Даже до того отвыкли, что чувствуем подчас к настоящей „живой жизни“ какое-то омерзение, а потому и терпеть не можем, когда нам напоминают про нее. Ведь мы до того дошли, что настоящую „живую жизнь“ чуть не считаем за труд, почти что за службу, и все мы про себя согласны, что по книжке лучше» [10: V, 178]. Представляется, что это можно считать не только упреком оппонентам Достоевского из лагеря теоретиков-социалистов, но и своеобразным комментарием к истории отношений Аполлона Григорьева и М.Ф. Дубровской, отразившейся в поэме «Вверх по Волге».

Концепту «живая жизнь» было суждено большое будущее в дальнейшем творчестве Достоевского. При всем своеобразии его понимания писателем выражение это наследовало «григорьевскую» неоднозначность, препятствующую превращению в клише. Для того, чтобы описать весь спектр значений понятия «живая жизнь» у Достоевского, потребуется специальная большая работа. Укажу здесь на несколько случаев, два из которых чаще всего фигурируют в работах о Достоевском, а остальные незаслуженно оставляются без внимания. В романе «Подросток» Версиков говорит, что живая жизнь – это «<...> должно быть нечто ужасно простое, самое обыденное и в глаза бросающееся, ежедневное и ежеминутное, и до того простое, что мы никак не можем поверить, чтоб оно было так просто, и, естественно, проходим мимо вот уже многие тысячи лет, не замечая и не узнавая» [10: XIII, 178]. В первой главе декабрьского выпуска «Дневника писателя» за 1876 год предлагается «окончательная формула» «живой жизни»: «Словом, идея о бессмертии – это сама жизнь, живая жизнь, ее окончательная формула и главный источник истины и правильного сознания для человечества» [10: XXIV, 49–50].

Как уже было сказано, приведенные два примера наиболее популярны у достоевистов. Но есть и другие, не менее интересные.

В подготовительных материалах к роману «Подросток» появляется выражение «публика и ее живая жизнь», и эта «живая жизнь» в ценностном плане представляет собой нечто менее значительное, чем «настоящий героический тип», который собирается создать Достоевский [10: XVI, 7]. Героический, он же «хищный», тип испытывает «страстную и *неутомимую* потребность наслаждения жизнью, *живую жизнью* <...>» [10: XVI, 39]. Здесь же Васин говорит, «что живая жизнь (сила) вне центра» [10: XVI, 233]. Это только некоторые случаи бытования концепта «живая жизнь» в текстах Достоевского, заслуживающие того, чтобы серьезно заняться их истолкованием и систематизацией – конечно же, подразумевающей некую смысловую свободу и неполную выразимость.

### Список литературы

1. Аксаков, К.С. Эстетика и литературная критика. – М.: Искусство, 1995.
2. Герцен, А.И. Собр. соч.: в 30 т. – М.: Изд-во АН СССР, 1954–1961.
3. Григорьев, А.А. Явления современной литературы, пропущенные нашей критикой. II «Псковитянка», драма Л. Мея // Время. – 1861. – № 4. – Апрель.
4. Григорьев, А.А. Белинский и отрицательный взгляд в литературе // Время. – 1861. – № 4. – Апрель.
5. Григорьев, А.А. Оппозиция застоя: Черты из истории мракобесия // Время. – 1861. – № 5. – Май.
6. Григорьев, А.А. Явления современной литературы, пропущенные нашей критикой. Граф Л. Толстой и его сочинения // Время. – 1862. – № 1. – Янв.
7. Григорьев, А.А. Явления современной литературы, пропущенные нашей критикой. Граф Л. Толстой и его сочинения. Статья вторая // Время. – 1862. – № 9. – Сент.
8. Григорьев, А.А. Соч.: в 2 т. – М.: Худ. лит., 1990.
9. Денисов, П.Н. Живой, как жизнь // Русская речь. – 1981. – № 2.
10. Достоевский, Ф.М. Полн. собр. соч.: в 30 т. – Л.: Наука, 1972–1990.
11. Достоевский, Ф.М. Собр. соч.: в 15 т. – Л.: Наука, 1988–1996.
12. Достоевский, Ф.М. Полн. собр. соч.: Канонические тексты. – Петрозаводск: Изд-во Петрозаводского ун-та, 1995.
13. Киреевский, И.В. Полн. собр. соч. / изд. А.И. Кошелев. – М., 1861.
14. Киреевский, И.В. Избр. ст. – М.: Современник, 1984.
15. Кунильский, А.Е. «Лик земной и вечная истина»: О восприятии мира и изображении героя в произведениях Ф.М. Достоевского. – Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2006.
16. Одоевский, В.Ф. Русские ночи. – Л.: Наука, 1975.
17. Русская лирическая поэзия для девиц / ред. В. Стоюнин. – СПб., 1859. – Ч. I.
18. Русские писатели. 1800–1917. Биографический словарь. – М.: Сов. энцикл., 1992.
19. Самарин, Ю.Ф. Соч.: в 12 т. / изд. Д. Самарин. – М., 1877–1911.
20. Славянофильство: pro et contra. – СПб.: Изд-во Русской Христианской гуманитарной академии, 2006.
21. Ф.М. Достоевский: Статьи и материалы / под ред. А.С. Долинина. – Л.; М.: Мысль, 1924. – Сб. 2.
22. Фойницкий, В.Н. Об источнике выражения «живая жизнь» // Русская речь. – 1981. – № 2.
23. Хомяков, А.С. Стихотворения и поэмы. – Л.: Сов. писатель, 1969.

УДК 821.161.1.09.

**А. В. Громова\***

### **Путевые циклы Б. К. Зайцева: жанровый аспект**

В статье исследуются концепции и поэтика путевых циклов Б.К. Зайцева «Италия» (1923), «Прованс» (1925–28), «Афон» (1928) и «Валаам» (1936), сочетающих черты жанров культурологического путевого очерка и древнерусского паломнического хождения. Привлекаются неизвестные архивные материалы. Показано своеобразие каждого цикла: в «Италии» отражено представление Зайцева о путях культурного развития Европы, в «Провансе» – о культуре Франции; задача автора в «Афоне» – изучение экзотического мира монастыря, в «Валааме» – воссоздание благой атмосферы уголка русского православия.

The article explores the concepts and genre poetics of travelling cycles of B. Zaitsev "Italy" (1923), "Provence" (1925–28), "Athos" (1928), "Valaam" (1936). These works combine features of the genre of traveling sketch and the old Russian genre of "pilgrimage". The article includes research based on archive materials that were not previously published. The article shows novelty of each cycle: "Italy" reflects B. Zaitsev's perception of the European cultural development; "Provence" explores his views on the French culture; "Athos" shows the author's studies of the exotic world of a monastery; "Valaam" provides reconstruction of the pious atmosphere of a Russian Orthodox settlement.

*Ключевые слова:* Б.К. Зайцев, путевой очерк, хождение, цикл, жанр

Б.К. Зайцев создал четыре путевых цикла: «Италия» (1923), «Прованс» (1925–28), «Афон» (1928) и «Валаам» (1936). Исследователи доказали, что в своих путевых очерках писатель средствами новейшей литературы обновляет древнерусский жанр паломнических хождений [см.: 4, 12, 13]. Но, обращаясь к древним формам, Зайцев выразил взгляды современного светского человека, носителя секулярной культуры.

По мнению Н.Б. Глушковой, жанр хождений не был утрачен в XX веке, но трансформировался и развивался в трех направлениях: культурологическом («Тень птицы» И.А. Бунина, «Образы Италии» П.П. Муратова, «Италия» Зайцева), религиозно-православном («Афон» и «Валаам» Зайцева, «Старый Валаам» И.С. Шмелева) и публицистическом («Путешествие в Палестину» А. Ладинского) [см.: 4]. В основе новых хождений лежало противопоставление мира ушедшего и современного, стремление понять пути мирового развития. Произведения этого жанра сохранили традиционную символику пространственного и временного пути паломника, а также приемы по-

---

\* Кандидат филологических наук, доцент, Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина.

вестования (сочетание непосредственных впечатлений автора и воссоздание фактов прошлого на основе литературных источников). При этом первая и вторая линии различаются направлением духовных поисков автора: если в произведениях первой группы путешественник стремится вобрать все религии мира, то во второй – ищет уцелевшие острова русской святости, воссоздает образ православной Руси. Это объясняется тем, что произведения первой группы создавались в эпоху Серебряного века, когда заметно усилился интерес к культуре других времен и народов, а религиозно-православные хождения нового времени принадлежат писателям-эмигрантам.

Во всех путевых циклах Зайцева проявились черты «культурологического хождения» нового времени: приоритетный интерес к произведениям искусства, стремление постичь историю духовной культуры той или иной страны. В циклах «Италия» и «Прованс» эта целевая установка является доминирующей, но даже в описаниях монастырей Афона и Валаама она не заслоняется религиозными раздумьями автора, хотя и отодвигается на второй план.

Первым циклом, запечатлевшим путешествия автора, стала книга «Италия» (1923). Зайцев неоднократно бывал в этой стране, был знатоком и поклонником ее искусства. Свойственное сознанию писателя восприятие Италии как «причащение прекрасным» соответствовало романтической мифу об Италии, восходящему к романтикам и Гоголю, Стендалю и Гете и культивировавшемуся русской интеллектуальной элитой рубежа веков [см.: 5, 10, 11, 14].

В цикл «Италия» вошли путевые очерки разных лет. Несмотря на очерковую отрывочность и описательность, книга обладает продуманной композицией, а кажущаяся «неровность» повествования соответствует лирико-импрессионистическому стилю, который создается за счет открыто выраженного лиризма, отражающего смену авторских чувств и настроений, обилия пейзажных зарисовок, фиксирующих суточное движение времени, цветописного характера изображения. Зайцев создает мифологизированный образ Италии, пронизанный пантеистическим одушевлением мира, подчеркивает слияние в итальянской культуре языческих и христианских начал.

Композиция книги не только отражает маршрут путешествия автора (Венеция, Генуя, Флоренция, Рим, Ассизи), но обусловлена последовательно проведенной культурологической концепцией, в основу которой положена излюбленная мысль Зайцева об извечной борьбе двух типов существования: духовного и бездуховного. Первый тип порождает искусство, культуру, религию и преодолевает конечность материального бытия. Бездуховная жизнь вязнет в плоти бытия и, даже создавая прекрасные вещи (наряды, украшения), ценя красоту и праздничность, остается в рамках бренного, то есть смертного. Поэтому наряду с оппозицией «духовное / бездуховное»

в цикле проходит лейтмотивная оппозиция «живое / мертвое». Описывая итальянские города, Зайцев как будто оценивает степень духовности каждого из них, опираясь на свои впечатления от быта, архитектуры, произведений искусства, привлекая свои знания по истории страны и ее культуры. Даже природа вовлечена в создание образа каждого города и также подвергается оценке.

Так, открывающий цикл очерк рисует пышный образ Венеции, «златоволосой царицы», обрученной с морем [9: III, 432]. Сущность Венеции – тяга к празднеству и роскоши – породила в ее искусстве обилие прикладных произведений. Но они бранны, поэтому город оказывается «двуликим», «радостно-скорбным»: «Нет острее ночной меланхолии Венеции, как нет ярче дневного ее очарования» [9: III, 434]. В описании Генуи доминирует мысль о преклонении жителей этого портового города перед «золотым цехином» [9: III, 437], поэтому в нем мало храмов, а главной достопримечательностью является огромное кладбище. Генуя ведет «стихийную, чувственно-острую жизнь» [9: III, 439], которая отделяет ее от жизни вечной. Противоположностью этому городу выступает любимая автором, «вечная и мудрая» Флоренция. Особое внимание уделяется многообразному флорентийскому искусству. По мнению Зайцева, в нем происходит слияние языческой, античной гармоничности и христианства, «которым многое еще осветлено, еще оласковано» [9: III, 442]. Характеризуя флорентийскую школу живописи, автор отмечает наметившееся в ней уже в XV в. движение к реализму. Ей противопоставлена сиенская школа, замкнувшаяся в консерватизме и отвергшая реализм, что определило ее место на «духовном проселке» человечества. Вечный Рим становится связующим звеном между эпохами язычества и христианства, достигнув вершин как в государственном и церковном строительстве, так и в искусстве, особенно в эпоху Ренессанса. Само искусство Ренессанса интерпретировано как «полуязыческое», что отразилось в трактовке творчества двух его гениев: Микеланджело и Рафаэля. Завершается книга главой об Ассизи – городе св. Франциска, явившего миру высокий образ бытия в духе. Таким образом, в расположении глав книги отражается представление автора о направлении историко-культурного развития Европы.

К образу Италии Зайцев обратился вновь в цикле «Далекое» (1965), но вошедшие в него «итальянские» очерки следует отнести не к путевым, а к мемуарным, поскольку писатель апеллирует здесь не к свежим впечатлениям о поездках, а к собственной памяти и печатным источникам.

Когда Зайцев оказался в вынужденном изгнании во Франции, он обрел в ней свой «уголок Италии» – Прованс, противопоставив его естественное и гармоничное бытие фальши и суетности Парижа. В

1925 г. в газете «Дни» начали появляться очерки Зайцева, объединенные общим заголовком «Прованс». В 1925–1928 гг. в разных изданиях эмиграции под этим заглавием было напечатано шесть очерков: «Прованс», «Аббатство Торонэ», «Тулон», «Авиньон», «О Грассе (письмо)», «Письмо об Экс». Впоследствии Зайцев не переиздавал эти очерки и не упоминал о них как о художественном целом, цикл не получил критической оценки и, вероятно, поэтому остался за пределами внимания читателей и исследователей.

Между тем, «Прованс» также можно рассматривать как образец культурологического путевого цикла. Внимание автора направлено не только на яркую и красочную природу южной Франции, но и на ее историю, памятники культуры, изучая которые Зайцев обращался к печатным источникам. Непосредственные впечатления автора от посещения этих мест соседствуют в очерках с историческими справками и размышлениями о судьбе французского государства, общества, церкви, европейского искусства.

Будучи информативно насыщенными, очерки обладают своеобразной поэтикой. Автор использует разные жанрово-композиционные формы, например, форму «письма», подкупавшую Зайцева возможностью доверительно-интимно обращаться к читателю. Композиционная продуманность наряду с лирическим присутствием автора, приглашающего читателя к путешествию, красочные описания с введением символически значимых деталей, наличие историко-культурных реминисценций выводят очерки в разряд завершенного художественного произведения.

Например, описывая аббатство Торонэ, основанное в XII в. св. Бернардом Клервосским, Зайцев утверждает, что постройки хранят дух, «лицо» своего времени. Церковь аббатства, «прямолинейная и мощная, серо-коричневого камня, грубого, простого» [8], напоминает власяницу и передает облик своего основателя, св. Бернарда, воплотившего, по мысли автора, аскетический дух средневековья. История монастыря отражает историю французского общества и государства, а также отношение общества к церкви. Размышления Зайцева приобретают публицистический характер, перекидывая мост во времени и пространстве: гневный пафос автора направлен как на европейских обывателей, во время Великой Французской Революции введших скот в Божий дом и впоследствии создавших «величайший орден лавочников», так и на современных ему революционеров-«безбожников».

Монастырь изображен в ореоле символических лейтмотивов (плющ, символизирующий забвение, непролазные заросли) и дантовских реминисценций. Так, колючий кустарник напоминает автору лес душ самоубийц у Данте: «Отломи ветку, потечет кровь, и печальный дух расскажет тебе свою жизнь» [8]. Возвращение на «дан-

товскую» тропу метафорически изображает путь к познанию. Данные детали и мотивы придают очерку художественность и философскую глубину.

Использование «дантовского кода» (и иных культурных кодов) является важной чертой поэтики другого путевого цикла – «Афон» (1928).

Критики и литературоведы, писавшие об «Афоне», отмечали, что писатель запечатлел преимущественно эстетическую сторону святынь [см.: 2, 3, 12, 15]. Поэтому наряду с чертами паломнического хождения в произведении присутствуют черты хождения культурологического.

Н.Б. Глушкова, обстоятельно проанализировавшая поэтику циклов «Афон» и «Валаам», отметила наряду с традиционными элементами «хожений» новаторские черты произведений Зайцева. Так, в «Афоне» писатель применяет поэтику модерна, использует различные культурные коды (древнегреческая мифология, произведения Данте, Библия) и создает особый стиль, сочетающий приемы модернистского и импрессионистического письма [см.: 4].

Создание книги «Афон» проходило в несколько этапов: первоначальный сбор материала, создание газетных очерков-корреспонденций о путешествии и, наконец, формирование книги, приведение отрывочных впечатлений к концептуальному единству. Замысел книги проясняется при исследовании ее творческой истории на основе сопоставления окончательного текста как с газетными публикациями, так и с перепиской и путевым дневником Зайцева [см.: 7]. Благодаря изучению документальных источников можно уточнить некоторые факты, положенные в основу произведения, а также проследить направление художественной переработки фактического материала.

Афонский дневник Зайцева не только содержит подневные записи, но имеет черты записной книжки писателя, куда целенаправленно заносился материал для будущего произведения: личные наблюдения, заметки по этнографии монастырей, выписки из книг.

Большую часть книжки занимают конспекты печатных изданий, благодаря чему можно точно установить круг использованных автором источников. Среди них: семитомный труд археолога и монаха Порфирия (Успенского) «Восток христианский» (Киев, 1872; СПб., 1892), «Путеводитель по св. горе Афонской» (СПб., 1854) и «Письма Святогорца к друзьям своим о Святой горе Афонской» (3-е изд., 1856), принадлежащие перу афонского иеромонаха Серафима (Веснина), «Рассказ святогорца, схимонаха Селевкия, о строе жизни и о странствовании по святым местам: Русским, Палестинским и Афонским» (СПб., 1860), «Афонский патерик, или Жизнеописание святых, на святой Афонской горе просиявших» (М., 1883).

Содержание выписок включает историю Афонского полуострова и отдельных монастырей, жития Афонских святых, описание некоторых монастырских традиций. Однако заимствованное из книг впоследствии было сокращено или перенесено в примечания: при сборе материала для будущего произведения Зайцев отдавал приоритет непосредственным впечатлениям, «живой жизни» Афона. В изучении писателем Афона прослеживается несколько уровней: этнографический, историко-культурный, социально-психологический, духовно-религиозный.

Ряд заметок в путевом дневнике Зайцева носит этнографический характер, например, греческие обозначения реалий монастырской жизни: «кипер (“кипос”, по-гречески огород, русское искажение – кипер)» [7: 19, об.], «ручная кадельница, **кация**» [7: 41, об.]. Единожды в записной книжке название и описание вещи сопровождается рисунком: это роскошный инкрустированный аналой («дискелий») в виде четырех извивающихся стоячих змей [7: 24, об.]. При этом не упоминается библейский источник образа – жезл Аарона, что свидетельствует о доминировании в очерках Зайцева культуроведческого подхода над религиозным. В окончательный текст книги писатель вводит малопонятные слова также с комментарием или переводом.

В центре очеркового цикла Зайцева – изображение греческих и русских монастырей, причем с особым сочувствием автор писал о русских обителях, подчеркивая их бедность и скромность. Уделяя должное внимание монастырскому быту и хозяйству, Зайцев стремился преимущественно показать «духовное хозяйство» (службы, послушания, молитвы, колокольный звон и другие ритуалы). Возможно, поэтому в окончательный текст книги не вошло слишком «бытовое» описание лесопилки и огорода в монастыре св. Пантелеймона [7: 35–35, об.].

Иными в книге Зайцева предстают греческие монастыри: они богаче, «артистичнее» и имеют черты нерусского мира. Так, Лавра св. Афанасия в восприятии Зайцева – «Византия и Восток» [9: VII, 114], Пантократор напомнил о европейском Возрождении, поскольку сохранил фрески Панселина – «византийского Рафаэля» [9: VII, 119], а Ватопед, освоивший блага современной цивилизации, по мнению Зайцева, «несет легкий налет запада» [9: VII, 121]. Но за внешней благоустроенностью и богатством автору видится отход от идеалов православной аскетики, поэтому греческие монахи изображаются неприязненно, в отличие от русских иноков.

Проявляя культурологический интерес к архитектуре, живописи и прикладному искусству монастырей, Зайцев одновременно стремился постичь сущность монашеского служения. Может быть, поэтому он уделил особое внимание людям Афона. Интереснейшие фрагменты в записной книжке – это зарисовки афонских типов. Не-

которые записи перешли в окончательный текст почти дословно: например, портреты о. Ильи [см.: 9: VII, 135] и о. Петра [см.: 9: VII, 136], рассказы о. Николая о монахах о. Ниле и о. Арсении [см.: 9: VII, 136–137]. Нельзя не отметить реалистичность и конкретность портретных описаний в дневнике Зайцева. Одновременно можно заметить, что при художественной переработке материала автор подчас придавал облику монахов иконописные черты. Например, пустынножитель о. Нил, кладущий в день по тысяче поклонов и питающийся только гнилыми смоквами, в записной книжке был изображен следующим образом: «Вылезает старичок со слезящимися глазами. <...> Он очень тих, едва ворочает языком» [7: 20]. В книге он уже предстает как «старик с воздушно-снеговым обрамлением лысого черепа <...> покорный и несколько удивленный. Глаза его, ровно-выцветшие, с оттенком “вечности” слегка слезились. Он опирался на высокую палку» [9: VII, 133]. При этом каждый характер индивидуализирован, изображен психологически объемно.

Изучая быт и поведение монахов, Зайцев стремился осмыслить феномен подвижничества. Писатель отметил, что оно требует жертв, к которым человек современной цивилизации подчас оказывается не готов: это отсутствие элементарных бытовых удобств, моральные испытания (отказ от родственных связей и творчества). Стараясь полнее постичь афонский мир, Зайцев не смог преодолеть взгляд на него «со стороны». В письме к жене и дочери он писал: «Этот мир замечательный, мне все же не близок» [9: XI, 44]. Однако это признание было адресовано только родным; читателям же будущих очерков об Афоне Зайцев хотел показать картину монашеской жизни, очищенную от «случайных черт». Поэтому он не включил в книгу фрагменты и детали, приземляющие образ Афона – «Земного Удела Богоматери», а также созданные для газеты очерки, описывающие морское странствие к Афону и увиденные по дороге греческие города. Эти очерки, подчеркнута злободневные и публицистичные, не соответствовали общему, возвышенному и серьезному, духу книги. Зайцев постарался проиллюстрировать главную мысль произведения об Афоне: «Здесь самую жизнь обращают в священную поэму» [9: VII, 97].

Летом 1935 г. Зайцев с супругой совершил поездку в Финляндию и посетил о. Валаам. Пребывание в Финляндии было воспринято Зайцевыми необычайно эмоционально: ведь они находились в непосредственной близости к России. Свои путевые впечатления писатель оформил в цикл очерков, которые первоначально печатались в газете «Возрождение» под общим заголовком «Финляндия», а затем были скомпонованы в книгу «Валаам» (1936).

И первые критики, и современные исследователи, сопоставляя книгу «Валаам» с циклом «Афон», сходятся во мнении, что она бо-

лее цельна по содержанию и стилю. В этом произведении Зайцев использовал приемы, уже отработанные в цикле очерков об Афоне. Композиция цикла характерна для путевых очерков (так как отражает преимущественно пространственные координаты путешествия) и традиционна для хождения (фиксирует этапы знакомства странника со святым местом).

Принципиальное отличие двух циклов обусловлено позицией автора: если в цикле «Афон» главной интенцией было изучение незнакомой среды, то Валаам сразу был воспринят как «свое», узнаваемое. Изменением авторской позиции обусловлены специфические черты в художественном мире произведения.

Исследование творческой истории книги «Афон» наглядно показало, как через отбор фактов шел процесс изучения и осмысления чужого мира. В «Валааме» почти сразу постулируется тезис о «райской» сущности острова, все последующее повествование является подтверждением этой идеи. Поэтому из произведения исчезает мотив трудности пути, характерный для «Афона». Первоначальное впечатление суровости северной природы вскоре сменяется ощущением света. Валаам, несмотря на трудности природной и монастырской жизни, становится местом умиротворения даже для иностранных туристов, которые с готовностью отказываются от благ цивилизации во имя соединения с духом святости.

Поскольку мир Валаама изначально воспринимается как родной, он уже не нуждается в изучении, подобно афонскому. Поэтому в книге «Валаам», по сравнению с «Афоном», значительно уменьшается удельный вес справочного материала. В минимальной степени задействованы книжные источники, в тексте отсутствуют примечания и ссылки, мало внимания уделено искусству Валаама, большинство исторических и агиографических фактов упоминаются вскользь. Исключение составляет вставка «Александр на Валааме» (об императоре Александре I), которая заменяет характерный для жанра хождений агиографический материал. Образ Александра опозитивирован, он представлен как смиренный богомолец и паломник, идеальный государь. Сходство двух путевых циклов – в открытом интересе к людям, насельникам монастырей. Как в «Афоне», так и в «Валааме» много места отведено портретам монахов и их рассказам, сохраняющим особенности простонародного языка.

В цикле «Валаам» изменяется образ автора, которому исследователи дают противоположные оценки. По мнению одних, в «Валааме» усиливается мотив воцерковленности автора, кульминацией книги является исповедь и причащение, что приближает произведение к традиции древнерусского хождения [4, 6]. Г.В. Адамович в рецензии на книгу Зайцева, напротив, отозвался об авторе как о «туристе» [1]. А.М. Любомудров высказывает предположение, что в «Ва-

лааме» образ «рассказчика» не совпадает с личностью писателя, автор сознательно создает образ повествователя – светского туриста [12: 94–95]. Это, на наш взгляд, свидетельствует о новых (по сравнению с другими произведениями этого жанра) направлениях беллетризации текста, документального в своей основе. «Озорной» облик автора призван передать читателю ощущение внутренней легкости паломника, прибывшего на Валаам и сразу ощутившего родственность окружающего мира собственной душе.

Итак, жанр путевого очерка в творчестве Зайцева претерпел эволюцию. Цикл «Италия» (1923) – это пример культуроведческого путевого цикла, отражающего авторское представление о культурном развитии Европы. В «Провансе» исследуются отдельные эпизоды истории и культуры Франции. Цикл «Афон» сочетает черты древнерусского жанра паломнического «хождения» и культурологического путевого очерка, в котором заметно выражено этнографическое начало, отразившее установку автора на изучение неизвестной экзотической страны. В «Валааме» справочный материал практически отсутствует, задачей автора является не изучение, а воссоздание благостной атмосферы острова, чему служит специфический образ повествователя.

#### Список литературы

1. Адамович, Г. «Валаам». Б. Зайцев [Рец.] // Последние новости. – Париж, 1936. – 14 окт. – (№ 5683). – С. 3.
2. Адамович, Г. Одиночество и свобода. – Нью-Йорк, 1955. – С. 445–457.
3. Воропаева, Е. «Афон» Б. Зайцева // Литературная учеба. – 1990. – № 4. – С. 32–35.
4. Глушкова, Н.Б. Паломнические «хождения» Б.К. Зайцева: Особенности жанра: автореф. дис. ... канд. филол. наук. – М., 1999.
5. Глушкова-Анри, Н.Б. Италия в творчестве Б.К. Зайцева // Проблемы изучения жизни и творчества Б.К. Зайцева. – Калуга: Изд-во КОИПКРО, 2001. – Вып.3. – С. 167–175.
6. Грибановский, П. Б.Зайцев о монастырях // Вестник Русского Студенческого Христианского Движения. – 1976. – № 117. – С. 70–80.
7. Зайцев, Б.К. «Афон». Дневник // РГАЛИ. Ф.1623. Оп.1. Ед.хр.8. 53 л.
8. Зайцев, Б.К. Прованс. Очерки. Аббатство Торонэ // Дни. – Париж. – 1925. – 27 сент. – (№ 812). – С. 3.
9. Зайцев, Б.К. Собр. соч.: в 11 т. – М.: Русская книга, 1999–2001.
10. Калганникова, И.Ю. Интерпретация русского мифа об Италии в цикле «Далекое» Б.К. Зайцева // Культура и текст. – СПб.; Барнаул, 1997. – Вып. I. Литературоведение. – Ч.2. – С. 73–74.
11. Комолова, Н.П. Италия в судьбе и творчестве Б. Зайцева / предисл. Е.К. Дейч. – М., 1998.
12. Любомудров, А.М. Духовный реализм в литературе русского зарубежья: Б. Зайцев, И. Шмелев. – СПб.: Д. Буланин, 2003.
13. Пак, Н.И. Древнерусская культура в художественном мире Б.К. Зайцева. – М.; Калуга, 2003.

14. Романович, А. Италия в жизни и творчестве Б.К. Зайцева // Русская литература. – 1999. – № 4. – С. 54–67.
15. Федотов, Г. «Афон» Б.Зайцева [Рец.] // Современные записки. – Париж. – 1930. – № 41. – С. 537–540.

УДК 821.161.1.09

**Е. И. Колесникова\***

### **Ювенильный миф в прозе А. Платонова**

Статья посвящена исследованию малых жанров А.Платонова периода 1920–1930-х годов: повести «Ювенильное море» (1931), рассказа «Течение времени» (1934), рукописных фрагментов «Земля» и «Македонский офицер». Главная идея – выявление в них концепта юности. Этот концепт стал ведущим в советской литературе социалистического реализма. Тем не менее, тексты Платонова более сложны. Иногда они прямо противоположны идеям соцреализма.

This article is devoted to research of small genres of A. Platonov of the period 1920-1930- years - "Sea of youths" (1931), the story "Current of time " (1934), manuscripts fragments "Earth" and " The Macedonian officer ". The main idea - revealing in them concept of youths. This concept became leaders in the Soviet literature of socialist realism. However, texts of Platonov are more complex. Sometimes they are to opposite ideas of socialist realism.

*Ключевые слова:* малая проза Андрея Платонова 1920–1930-х годов; ювенильный миф социалистического реализма: «возрожденческий концепт»; исторический контекст; герой, тема, деталь.

В Советском Союзе к 1930-м гг., когда начались попытки научного описания становления государства, выработалось крайне негативное отношение ко всему предыдущему историческому периоду развития страны, который рассматривался как перерыв в поступательном развитии цивилизации. Была выработана историческая концепция, согласно которой вся история России представляла собой монотонно негативную картину, за исключением нескольких эпизодов патриотического подъема во время нашествия чужеземцев. В изменившихся условиях уточняется само понимание исторического процесса, актуализируется категория гражданственности. 15 мая 1934 г. СНК СССР и ЦК ВКП(б) подписали Постановление «О преподавании гражданской истории в школах СССР». Идеологический ракурс в отборе событий отечественной истории становится решающим. В этом смысле показателен, например, подход к отбору материала у М. Булгакова в его набросках к истории России.

Отдельно принято было рассматривать Петровскую эпоху, находя в ней много созвучного. Одной из актуальных тем в советской

---

\* Кандидат филологических наук, доцент, Ленинградский государственный университет имени А. С. Пушкина.

литературе 1930-х годов становится проблема власти, решаемая с разных позиций и на разном историческом материале (М. Булгаков, А. Толстой и др.).

При рассмотрении ряда социокультурных и поведенческих моделей в переломные эпохи можно обнаружить много общего и имеющего черты, которые в истории культуры были сформулированы как базовые концепты Возрождения. Как показывает история, социально-политическая сторона жизни при смене эпох наполнялась сходными составляющими. Если сравнивать самую общую систему некоторых подобных периодов, то вырисовываются однотипные тенденции: отрицательной оценке подверглись: Средневековье, инквизиция; крепостничество, феодальные сословные отношения, решение политических и межсословных проблем путем заговоров, отравлений в эпоху классического Возрождения (в пример можно привести семейство Борджиа во главе с папой Александром VI, на совести которого – убийства, грабежи, безудержный разврат. Но при этом он был наделен блестящим талантом государственного деятеля); церковная реформа в России, идея «Москва – Третий Рим», развитый политический сыск и система доносительства в петровское время (имеется в виду деятельность Преображенского приказа и позже созданной Тайной канцелярии); Кроме того очернение предшествующих исторических эпох, богоборчество, «беспаспортная кабала» крестьян в колхозах, массовые репрессии, использование рабского труда заключенных, бесконтрольная деятельность НКВД, доносительство в сталинский период. О том, что Платонов почувствовал генетическое родство переломных периодов в истории, говорит тот факт, что уже в 1927 г. его интересовало соотношение величия преобразовательских инициатив Петра I с варварскими методами их реализации (повесть «Епифанские шлюзы»). Сам факт активного использования в текстах произведений 1920–1930-х г. таких антитетических дефиниций, как «ветхое время» / «новое время», «ветхий человек» / «новый человек» свидетельствует об актуальности для писателя всего круга проблем, с ними связанных.

Обновление, стремление к вечной молодости, отказ от старых косных традиций не раз становились конституирующим фактором социально-художественного сознания переломных эпох. Казалось бы, налицо был парадокс: архетип юности, как символ неизменности, либо инволюции, приобретал черты историчности. Первопричина этого парадокса – сложившееся в эпоху Возрождения мнение о генетической тождественности природного и культурного миров. Сам по себе Ренессанс стал первой культурной попыткой регенерации времени, последовательно реализующей идею обновления, когда была принята установка начать историю заново. Именно как обновление, социальное омоложение в советскую эпоху рассматри-

валось отчасти петровское время и, безусловно, современность. Повсеместно царило ощущение юности, молодости, предназначения: «Коммунизм – это молодость мира и его возводить молодым» (В. Маяковский).

Идея молодости как качества социального обновления в Советском Союзе повлекла за собой идеологические акции, обращенные к молодому населению страны. В 1933 г. знаковой становится речь И.В. Сталина, где был сформулирован ставший расхожим постулат: «Молодёжь – наша будущность, наша надежда, товарищи» [3]. 6 июля 1936 г. на параде физкультурников в Москве впервые появился лозунг «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!». 23 сентября 1937 г. в газете «Правда» была опубликована передовая статья под названием «Счастливые дети сталинской эпохи», где были повторены слова лозунга. С этого момента они становятся одной из официальных идеологем, дающих оптимистически-жизнеутверждающую, по своей сути прогрессистскую характеристику времени, наряду с лозунгом «Жить стало лучше, товарищи. Жить стало веселее». [4]

Платонов, несмотря на оригинальность и нестандартность в понимании и художественных решениях этой общей идеи, в ее изображении отчасти вписывался в общую тенденцию. В целом ряде рассказов и набросков («Земля», «Такыр», «Течение времени», «Черноногая девчонка», «Неизвестный цветок») присутствует тема эволюционистско-прогрессистской сменяемости поколений. От «человека природного» рождается иное, улучшенное, а зачастую и социализированное поколение. Так, в наброске «Земля» описывается «случайное» рождение героя («Раз родился на свете маленький мальчик. <Мать> была добра и родила его нечаянно от одного сторожа, который плакал, когда видел ее. Она над ним сжалилась и приласкала его. От своей светящейся, ликующей красоты ей самой трудно жилось. Всем она была нужна, каждый гнался за ней, каждый льнул, дышал в лицо, жался и шептал тоскующие слова. Она всем улыбалась и отвечала и ничего сама не понимала») [5: 266–267] Идея «нечаянного» происхождения мира, свойственная взглядам писателя, вкладывается им в образ матери с ее стихийным безответным существованием. Мальчик поначалу тоже растет и осознает себя лишь в природном мире: «И пошли тихие годы, когда тело растет и так понятен мир и все люди похожи на траву, на дома и деревья. <...> В эти годы Ваня все понимал и для него не было невозможного. Ему было все лучше и лучше. Раньше он не верил, что за заставой есть что-то такое другое. Там канава, лопухи и небо. <...> пели птицы, Ваня слушал и знал, что и он умеет, только не хочет. Пугливая бабочка с красными крыльями низко трепетала над цветами. Ваня глядел и в эту минуту летал вместе с ней» [5: 267]. Насту-

пает период, когда Ване захотелось «сделать, чего сделать нельзя. <...> Ему хотелось того, чего не было» [5: 267]. Мать умирает, и ребенок из природной жизни входит в другую плоскость отношений с миром – социально-профессиональную. Он идет на учебу к столяру, потом «поступает на постройку трубопрокатного завода. Когда его выстроили, он остался там и перешел в слесаря. На новой работе Ваня был ближе к машинам, которые полюбил еще давно, когда в первый раз увидел паровоз» [5: 267–268] Герой приходит к тому виду деятельности, которым он способен преобразовывать, изменять природный мир, то, откуда он родом. «И у него была своя тайная любимая цель о другой земле, которую можно сделать из этой» [5: 268].

Однако плоды этих переделок Платонов видит неоднозначно. В наброске к рассказу «Земля» дается отсылка к идее, которая может быть реконструирована при соотнесении плана романа «Зреющая звезда», рассказа «Мусорный ветер» и набросков к неоконченной повести «Македонский офицер». Здесь можно проследить сквозной мотив так называемой эволюционистской этической космогонии, согласно которой этапы развития земли соответствовали определенному возрасту. В наиболее развернутом виде она прозвучала в повести «Македонский офицер». Земле предрекалось два возможных пути: первый, освещенный греческой мыслью и наполненный подвигами, способен превратить землю в «кристаллическую звезду, которая взойдет в сферы вечного покоя среди других кристаллов сияющего неба» – такая писательская сотериология (учение о спасении); и второй, «если люди не совершат своих подвигов до победы, – земля <...> обратится в смрадный газ и некий ветхий ветер...» [5: 249].

Теория этической космогонии, в художественном виде поданная как идея античного философа Каллисфена, не чужда была и философско-религиозному контексту начала XX века. Порожденные теософской мыслью учения космизма, «философии общего дела» Н. Федорова, теории всеединства и другими, они давали основу для построения эволюционной картины развития вселенной, в которой земле надлежало пройти через ряд стадий, связанных с превращением ее либо в «кристаллическую звезду», либо в «мусорный ветер». Этапы преобразования соответствовали определенному возрасту. Космический возраст современной земли Платоновым рассматривался как период детства. Прогностика же, реализованная в рассказе «Мусорный ветер», откорректированная контекстом 1930-х гг., была отрицательной. Виной тому – повторение в XX в. так называемого «психиатрического правления» царя Озния из «ветхих времен». И в «Мусорном ветре», и в «Македонском офицере» дается общая схема выработки правящей идеологии. В «Мусорном ветре» читаем: «... были сонмы и племена, которые сидели в канцеля-

риях и письменно, оптически, музыкально, мысленно, психически утверждали владычество гения-спасителя» [2: 279]. Писатель фиксирует общие концепты «психиатрического» типа правления, называемое им «всяким искусством мгновенных чувств», которое склонно было закреплять за своей эпохой право считаться итоговой и лучшей: «Клузий объявлял новейшее время как психиатрический окончательный этап в жизни всего человечества. Психиатрия – мгновенное искусство духа царя – есть завершение всемирной томительной истории человеческого рода: психиатрическая форма правления народами есть высшая, действительная свобода людей, потому что все законы государства немедленно отмирают и общая жизнь делается внезапной в своей судьбе ... каждый может ежедневно умереть или быть объявленным бессмертным...» [5: 262].

Взгляд на историю собственной страны, в частности на революцию в общепланетарном контексте, свойственный ряду авангардистских течений в первые годы XX в., у Платонова к 1930-м гг. практически угасает. Сочетание в творчестве крупных планов с частными порой становится причиной кажущихся противоречий в его взглядах на современность: ратуя за масштабное преобразование-омоложение, в видении и оценках конкретных ситуаций, он был точен и беспощаден. Однако частотный регенеративный мотив роднит его творчество с общими тенденциями в литературе.

Отождествление переживаемого времени перемен со вновь обретаемой юностью человеческой цивилизации, восходящее к мифам и прогрессистско-эволюционистским взглядам на историю, находило подтверждение в архетипических сюжетах и образах советской литературы данного периода. Приближающееся обновление, регенерация времени – стали устойчивыми темами в советской литературе. При этом миф о счастливом детстве соседствовал с жертвенной ролью ребенка. Например, почти как языческое жертвенное заклинание прозвучали в 1932 г. строки Э.Багрицкого в стихотворении «Смерть пионерки»:

Чтоб земля суровая  
Кровью истекла,  
Чтобы юность новая  
Из костей взошла.

В повести Платонова «Ювенильное море» (1931) можно отыскать следы этого «молодильного» мифа, созвучного общему концепту эпохи. Герой повести Николай Вермо, мыслитель и по-возрожденчески универсальный специалист (инженер, музыкант, слесарь, часовщик, шофер) «мчится в действительность, заряженный природным талантом и политехническим образованием» [2: 185] и ищет «море юности», лежащее под песками сухой степи. Особое универ-

сальное видение мира героем позволяет ему мыслить глобальными категориями во времени и пространстве – мечта о добыче реликтовых вод, спрятанных в глубинных породах и способных принести обновление сегодняшним людям – вырастает до символического концепта эпохи. «...Внизу, в темноте земли, лежат навеки погребенные воды. Когда шло создание земного шара и теперь, когда оно продолжается, то много воды было зажато кристаллическими породами, и там вода осталась в тесноте и покое. Много воды выделилось из вещества, при изменении его от химических причин, и эта вода также собралась в каменных могилах в неприкосновенном, девственном виде...» [2: 213]. Сказочные мотивы «живой воды», «молодильных яблок», возрождающей купели, сопряженные с упованием на современные научно-технические возможности, обретают авангардистское наполнение. Соединение романтически-утопического начала с жестким рационализмом ломает привычные жанровые формы и делает произведения писателя частью его жизненного проекта. Характерно, что в замыслах и действиях другого героя, офицера македонской армии, гидравлика Фирса, также готового заняться добычей реликтовых вод, отсутствует утопическо-прожектёрский элемент. Он не считает их источником обновления, подходя к делу сугубо профессионально. Инициатива поиска реликтовой «сладкой воды» исходит от диктатора Озния, но пленник Фирс, мечтающий о свободе, пытается растолковать ему, что он знает только воду пресную и солёную, а сладкой воды не бывает. Основной блок набросков к роману «Македонский офицер» создавался через два–три года после «Ювенильного моря» и вырос из иного социального опыта писателя.

В эволюционистско-прогрессистском подходе Платонова исследователи увидели следы позднего Возрождения. В частности, анализируя рассказ «Такыр» (1934), С. Воложин писал: «Рабыня персиянка. Мучительная жизнь. И, несмотря ни на что, если не удалось персиянке, то удалось ее дочери – новая жизнь со становлением советской власти в пустыне наступила. Дочь рабыни стала научным работником. Все мучения были не зря» [1].

В рассказе «Течение времени» (1934) также можно отметить барочные элементы – экзотический национальный антураж (описывается Грузия), контрастность изображаемого (например, противопоставления – тематическое: окраина / столица, детальное – белая материя и темнеющий от слепоты мир в глазах белошвейки), напряжённость ситуаций и судеб, динамичность образов, аффектация.

Здесь уже отсутствует прежняя космогоническая масштабность. Движение происходит однолинейно во времени и в социальном пространстве. Личностное обновление и обретение себя героинями

символически сопровождается наследственным недугом – слепотой. Сюжетное действие привязано к конкретному месту (Тифлис) и времени («не очень давно, лет двадцать назад»). Описывается жизнь четырех поколений одной семьи. В убогом жилище проживают три женщины – слепая старуха, ее изнуренная трудом дочь-белошвейка и внучка Тамара. Каждая из них имела свое утешение и подобие счастья в собственном «царстве сознания». Слепая старуха «глядела смутными, выморочными глазами на свет огня и чувствовала его, он ей нравился, как утешение, как брезжащий голос из темного мира» [5: 276]. Дочь «видела природу и прохожих, разные чужие вещи, высокие горы и воображала в душе чью-нибудь другую жизнь, непохожую на свою, чтобы быть счастливой в своем уме» [5: 276]. Внучка Тамара «жила разумом всех бедных – воображением. Она видела игрушки в руках подруги и, не подходя к ней близко, думала втайне, что эта игрушка – ее и она уже держит ее в своих руках и наслаждается радостью. <...> Она присваивала себе все, что ей нравилось в мире, что могло любить ее любопытное, скупое сердце, которое не могло жить пустым и постоянно должно быть занято собственностью. Однажды Тамара разглядела старую, брошенную картинку на чужом дворе, на той картине была нарисована красками небольшая гора, – гора стояла среди далекого вечера, покрытая жалким лесом, с какою-то избушкой на краю леса, и в той избушке уже зажгли ночной огонь. Тамара стала думать мечту, что она скоро будет жить в той избушке, это ее будет дом, и что вся гора с лесом – ее царство и страна, где ей станет хорошо» [5: 277]. Для спасения от голода начинающая слепнуть белошвейка предпринимает действие по-человечески расчетливое, но не выходящее за пределы природной плоскости: выдает свою маленькую дочь Тамару замуж за богатого старика.

Изменение внутренней сущности героини в рассказе напрямую связывается с перемещением в пространстве. Поиски страны, где «ей станет хорошо», Тамара начнет с побега от нелюбимого старого мужа. Характерно, что она проделает типичный для героини русской литературы центростремительный путь – из окраины в Москву. Именно здесь состоится вхождение Тамары и ее дочери Тамары-младшей в социально-профессиональную жизнь. Молодая женщина и ее дочь получают образование, работу, жилье. «В 1934 году обе Тамары стали инженерами; одной из них шел тридцать второй год, другой – двадцатый. Они были похожи друг на друга и красивы. Их женихи долго колебались в выборе». Описание преобразования и статусного возрастания героинь звучит в духе эстетических нормативов времени. Указание точной сюжетной датировки неслучайно. Но на вектор исторического времени автор пунктирно накладывает мифологическую цикличность. Несмотря на всю схожесть двух Тамар,

старшая не может «жить в одно будущее». Убежав от внешних обстоятельств прежней жизни, приняв жизнь новую, она сохраняет способность к прежним ощущениям:

«Младшая Тамара не помнила Тифлиса, не сознавала ничего из погасшей ранней памяти, она жила в одно будущее. Старшая же помнила все: она купила себе керосиновую лампу и изредка сидела одна перед нею. У нее еще было живо воображение – и ум бедняков: и если разум обращался в будущее, то чувство могло обращаться в прошлое, все более удаляющееся, жалкое, как свет лампы перед слепнувшими глазами» [5: 282]. Писатель закольцовывает композицию введением в финальном абзаце устойчивых предметных деталей рассказа – керосиновой лампы и слепнувших глаз старшей Тамары, что значительно усложняет представление об авторской позиции.

Только молодое поколение в рассмотренных произведениях Платонова обретает личностную самодостаточность и профессиональную реализацию. Обращает на себя внимание устойчивость подобной сюжетной модели, которая одновременно соотносится как с канонами провозглашенного социалистического реализма, так и поискам самого писателя. Но текстуальный анализ позволяет интерпретировать содержание платоновских рассказов практически противоположно генеральному методу, что не преминула сделать советская критика. 18 января 1935 г. в «Правде» появилась разгромная статья, ставшая сигналом, после которого журналы перестали брать платоновские тексты и начали возвращать уже принятые. Эта же участь была уготована рассказу «Течение времени». Об этом свидетельствует машинопись, хранящаяся в фонде 780 Рукописного Отдела ИРЛИ РАН (Пушкинский Дом). На ней стоит штамп журнала «Красная Новь» о корректорской вычитке текста и его направлении в № 1 за 1935 г. В печати этот рассказ по известной причине так и не появился. Это значит, что рассказ был снят уже после прохождения всех необходимых цензурных и редакторских проверок. Был опубликован лишь в 2000 г.

#### Список литературы

1. Воложин, С. Тайна Платонова // Хронос. 2000, [http://www.hrono.ru/libris/lib\\_p/volozhin03.html](http://www.hrono.ru/libris/lib_p/volozhin03.html)
2. Платонов, А. Мусорный ветер. – Таллинн: Ээсти раамат, 1991.
3. Сталин, И. В. Речь на Первом Всесоюзном съезде колхозников-ударников 9 февраля 1933 г. // Правда. – 1933. – № 53. – 23 февраля.
4. Сталин, И. В. Речь на Первом Всесоюзном совещании стахановцев 17 ноября 1935 г. // Правда. – 1935. – 22 нояб.
5. Творчество Андрея Платонова. Исследования и материалы. – СПб.: Наука, 2000. – Кн. 2.

**Ароматы и запахи в жизни А. П. Чехова:  
мифопоэтика ольфакторных сюжетов  
в зеркале эпистолярной и мемуарной чеховианы**

На основе переписки А.П. Чехова и воспоминаний о нем современников исследуется роль и место ароматов и запахов в частной жизни А.П. Чехова. Анализируются наиболее значимые в семантическом плане ольфакторные сюжеты, характеризующие личность писателя и поэтику его жизнетворчества.

Basing on Chekhov's correspondence and his contemporaries' memoirs the research of fragrances and smells' place in his private life is held. The most significant in the sense of semantics olfactory plots are analysed to characterize the writer's personality and the poetics of his lifetime.

*Ключевые слова:* А.П. Чехов, частная жизнь, ароматы, запахи.

Неотвратимость вдыхания человеком ароматов и запахов окружающего пространства, в значительной мере определяющего характер его повседневного общения с внешним миром, придает проблеме «ароматы и запахи в культуре» особую привлекательность для различных культурологических построений [1]. Однако в силу эфемерности бытия ароматов и запахов «уловить» растворенную во времени ольфакторную ауру человеческой жизни в ее эпохальном и локальном ракурсах по силам лишь литературным текстам. И лишь сотворчество двух талантов – писательского и читательского – способно возродить утраченное измерение повседневной жизни, скрывающее в себе «мегабайты» культурных смыслов [4: 5].

Ольфакторная аура – одна из знаковых характеристик поэтики русской литературы. Однако на сегодняшний день культурологический вектор освоения литературных ароматов и запахов пока еще только набирает силу [3, 6, 9]. Не столь обширна и библиография проблемы в рамках традиционного литературоведческого подхода, представленная, главным образом, анализом ольфакторных мотивов и образов конкретных литературных произведений [2, 5, 7, 8, 10–12].

Наряду с освоением ольфакторных кодов художественной литературы безусловный интерес представляют те ароматы и запахи, которые наполняли ближайшую среду обитания самих творцов ольфакторных текстов. Анализ «фактов биографии» писателя не только как субъекта литературных коммуникаций, но и как «человека обо-

---

\* Кандидат педагогических наук, доцент, Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина.

няющего» дает возможность при соответствующей «оптике» прочтения их знаковых и символических контекстов выйти на метафорический уровень осмысления поэтики житнетворчества мастера.

В этой связи безусловный интерес представляет богатейший семантический потенциал эпистолярной и мемуарной чеховианы, в собраниях которой можно обнаружить сведения об ольфакторной ауре чеховской эпохи и номенклатуре ее «исторических источников», и чеховские оценки ольфакторной среды, и наблюдения ольфакторного «жанра» многочисленных собеседников Чехова.

В общем случае ассортимент доминирующих запахов, составлявших повседневную жизнь А.П. Чехова, можно представить в контексте таких культурологических срезов, как запахи природы, запахи цивилизации, запахи пошлости, ароматы любви; запахи болезни и смерти. Каждый из приведенных выше срезов представлен своими образцами по шкале «приятное – неприятное», а также их метафорическими аналогами внеольфакторного происхождения.

Первый из обозначенных срезов – *запахи природы* – преимущественно представлен приятными запахами, олицетворяющими полноту и гармонию живой природы, желания любви, домашнего уюта и покоя. Причем аксиологическая составляющая этого ряда весьма подвижна и не однозначна в различные периоды жизни писателя. Наименования второго – *запахи цивилизации* – и третьего среза – *запахи пошлости* – имеют явно выраженный метафорический характер, но вполне конкретное выражение на уровне источников ольфакторной ауры. Четвертый – *ароматы любви* – и пятый срез – *запахи болезни и смерти* – связаны с конкретными событиями частной жизни Чехова.

Следует отметить условность приведенной «типологии» ольфакторных срезов, как на уровне наименований групп, так и на уровне составляющих их ингредиентов, обусловленную, прежде всего, конкретными исследовательскими задачами.

*Запахи природы* – трав, цветов, фруктовых деревьев – безусловно, составляют то лучшее, светлое, неизменно желаемое, что сопровождало повседневье Чехова и «в миру», и в литературном творчестве.

Мотив цветочной ауры прослеживается через многие воспоминания о Чехове.

К.А. Коровин: «*Поедемте-ка в Сокольники ... Прекрасный день... Там уже цветут фиалки... Воздух, весна. И мы отправились в Сокольники*» [14: 28];

А.А. Хотяинцева: «*Море, пальмы, запах желтофиолей ... Ницца!*» [14: 367].

Т.Л. Щепкина-Куперник: «*Цветение фруктовых деревьев вызвало в нем какие-то радостные ассоциации – может быть, сады его детства в южном городке, но когда он смотрел на бело-*

*розовые яблони, у него были ласковые и счастливые глаза» [14: 231]. Главным украшением мелеховской усадьбы «была безукоризненная чистота, много воздуха и цветов <...>. Комнаты как-то походили на своих владельцев: келейка Павла Егоровича, с киотами, лампадкой, запахом лекарственных трав и огромными книгами, в которых он записывал все события дня в одной строке, вроде: <...> 14. Девчонки принесли ландышей из лесу. <...> 18. Пиона расцвела» [14: 231].*

Ароматами трав и цветов пропитаны письма Чехова и его близких:

А.П. Чехов – Чеховым: *«В воздухе душно и пахнет травами» [13: II, 75];*

М.П. Чехов – кузену Георгию: *«запах цветущей липы, бузины и жасмина, да аромат только что скошенного сена» [16: 270];*

А.П. Чехов – И.Л. Леонтьеву (Щеглову): *«Запах свежего сена пьянит и дурманит» [16: 428];*

О.Л. Книппер – А.П. Чехову: *«У меня расцвела азалея, ужасно хочется послать Вам с холодного севера цветок, посылаю только лепестки» [15: 45];*

А.П. Чехов – О.Л. Книппер: *«в моем саду расцвела камелия» [15: 59];*

А.П. Чехов – О.Л. Книппер: *«Скоро, на сих днях, зацветут тюльпаны» [15: 61];*

А.П. Чехов – М. П. Чеховой: *«Розы и хризантемы, особенно хризантемы, цветут у нас буйно» [13: XI, 101].*

О.Л. Книппер – А.П. Чехову: *«А как чудно цвели яблони, вишни! Как все было бело и свежо! Как мне все это нравилось!» [15: 271];*

О.Л. Книппер – А.П. Чехову: *«Твое письмо пахнет фиалкой, духик мой родненький! Отчего это? Так тонко и так приятно» [15: 520].*

В минуты затишья запахи родной природы порождают надежды на лучшее. А.П. Чехов – Суворину: *«Была два раза сильная метель <...>, а теперь тихо и пахнет Рождеством» [13: V, 138].* Но они же вселяют и тревогу. 5 июля 1895 года Чехов, никому не сказав, куда едет, отправляется в имение Горки к И. Левитану. Знаменитый живописец и певец русской природы, переживая сильнейшую меланхолию, в минуту отчаяния пытался покончить с собой. В письме А.С. Суворину Чехов напишет: *«Холодно. Местность болотистая. Пахнет половцами и печенегами» [13: VI, 65].*

Но и вдали от дома «дымы отечества» не отпускают. 27 января 1898 года Чехов пишет Суворину из Ниццы: *«Здесьнее русское кладбище великолепно. Уютно, зелено <...> пахнет славно» [16: 589].*

*Запахи цивилизации. Запахи пошлости.* Годы освоения московской цивилизации сказались на ольфакторных впечатлениях

Чехова о пребывании в родном Таганроге весной 1887 года [16: 215].

А.П. Чехов – Чеховым: *«Сильно бьет в нос претензия на роскошь и изысканность, а вкуса меньше, чем у болотного сапога женственности <...>. Теснота, жара, <...> и отсутствие всяких удобств. <...> духота и запах детских одеял»* [13: II, 58–59].

Совсем иной природы ольфакторные ощущения принесла Чехову его литературная слава. В марте 1888 года он не без удовольствия сообщает в одном из своих писем М. В. Киселевой: *«На днях я вернулся из Питера. Купался там в славе и нюхал фимиамы. <...> На правах великого писателя я всё время в Питере катался в ландо и пил шампанское. Вообще чувствовал себя прохвостом»* [13: II, 217–218].

Пребывая в июле 1888 года желанным гостем на даче Суворина в Феодосии, Чехов на время воплощает свой идеал праздной жизни – купание, гуляние и бесконечные разговоры со своим старшим другом: *«Встаю я в 11 часов, ложусь в 3 ночи, целый день ем, пью и говорю, говорю, говорю без конца <...>. Дни жаркие, ночи душные, азиатские... Нет, надо уехать!»* [13: II, 298].

Ольфакторными впечатлениями наполнены и путевые заметки Чехова.

А.П. Чехов – М.П. Чехову, 28 июля 1888, пароход «Дир»: *«В маленькой каютке, <...> похожей на ватерклозет, нестерпимо душно и жарко. Воняет гарью, канатом, рыбой и морем....»* [13: II, 303–305].

Весной 1890 года Чехов отправляется в свое знаменитое путешествие на Сахалин, давшее ему возможность познать совсем другую повседневность. О своих впечатлениях он подробно сообщает в письмах родным и Суворину. Одно из них с ироническим подтекстом, адресованное Чеховым, касается его собственных переживаний по поводу весенних капризов погоды, настигших его в Екатеринбург: *«Калош у меня нет, натянул я большие сапоги и, пока дошел до буфета с кофе, продушил дегтем всю Уральскую область»* [13: IV, 72].

Из Томска Чехов шлет свои дорожные жалобы Суворину: *«В Тюмени я купил себе на дорогу колбасы <...>. Когда берешь кусок в рот, то во рту такой запах, как будто вошел в конюшню в тот самый момент, когда кучера снимают портянки* [13: IV, 92].

Опыт приобщения к европейской цивилизации стали поводом к рождению целого кортежа ольфакторных метафор.

Чехов – Чеховым, 15 апреля 1891, Ницца: *«<...>. И, боже ты мой господи, до какой степени презренна и мерзка эта жизнь с ее артишоками, пальмами, запахом померанцев! Я люблю роскошь и богатство, но здешняя рулеточная роскошь производит на меня впечатление роскошного ватерклозета. В воздухе висит что-то*

*такое, что, Вы чувствуете, оскорбляет Вашу порядочность, опошляет природу, шум моря, луну» [13: IV, 217].*

Однако осенью 1897 года Чехова снова потянуло в Европу, где «культура прет <...> из каждого лукошка» и «от каждой собаки пахнет цивилизацией» [13: VII, 98].

Собираясь в октябре 1900 года в Москву, Чехов в письме к Книппер «предъявляет» свои требования в отношении его временного пристанища: «Подумай-ка, в какой гостинице, или каких меблированных комнатах мне остановиться. <...> Мне такую комнату, чтобы не скучно было проходить по коридору, не пахло бы» [15: 97].

В июне 1902 года Чехов, невзирая на усиливавшуюся с каждым днем болезненную слабость, побывал в уральских владениях Саввы Морозова, где почетному гостю показывали местные достопримечательности: спиртовой завод, новую школу и березовый парк. О его впечатлениях писал А.Н. Серебров-Тихонов: «Темный, низкий, закопченный завод, где в огромных чанах и холодильниках сутками прели какие-то составы и жидкости <...> Чехову явно не понравился. Морщась от уксусного запаха, он безразлично прослушал объяснения инженера, постучал из вежливости тросточкой по огромной бутылке денатурата и, не дождавшись Морозова, вышел на воздух» [14: 585–586].

К марту 1903 г. ароматы цивилизации донеслись и до Ялты.

А.П. Чехов – О.Л. Книппер: «Милый Дусик, у нас в Ялте торжество: открылся магазин Кюба, настоящего петербургского Кюба. <...> Итак, завтра пойду к Кюба, понюхаю европейской цивилизации» [13: XI, 171].

Врач И.Н. Альтшуллер вспоминал об одном ялтинском застолье, на которое Чехов был приглашен местным купцом:

*«Было душно, жарко, масса приглашенных “на Чехова” родственников и приятелей радушного хозяина. <...> Как только мы вышли, Чехов завернул в аптеку и купил свою любимую касторку: “Надо будет сейчас же принять”.– “Да вы ж ничего не ели”.– “А запах, а разговоры?”» [14: 538].*

Из ароматических источников, создающих иллюзию приятной жизни, особое расположение Чехов испытывал **к духам:**

А.И. Куприн: «Кабинет в ялтинском доме у А. П. был небольшой <...>, но дышавший какой-то своеобразной прелестью. <...> Пахнет тонкими духами, до которых А. П. всегда был охотник» [14: 513];

О.Л. Книппер – А.П. Чехову, сентябрь, 1899г.: «<...> посылаю Вам вкусных духов, авось вспомните меня» [15: 28.];

А.П. Чехов – О.Л. Книппер, 24 сентября, 1902 г: «Не забудь, собака: когда приеду в Москву, купим духов «Houbigant», самый

большой флакон или два-три поменьше, вышлем Альтшуллеру» [15: 512];

А.П. Чехов – О.Л. Книппер, 5 декабря, 1902 г.: «Духи у меня есть, три четверти флакона, но все же скажу спасибо, если пришлешь с Машей еще небольшой флакон» [15: 539];

А.П. Чехов – О.Л. Книппер, 21 декабря, 1902 г.: «За духи кланяюсь тебе в ножки <...>. Духи очень хороши» [15: 559].

Одним из вредоносных запахов, сопровождавших повседневье Чехова по его воле, или вопреки ей, был **запах табака**:

К.А. Коровин: «В номере Антона Павловича было сильно накурено, на столе стоял самовар» [14: 26].

А.П. Чехов – Ф.О. Шехтелю, 26 марта 1893 г.: «Я курю по 3–4 сигары в день, но сейчас не в очередь закурил рижскую. Весьма приятно и весьма похвально, как говорят попы. Вкусно» [13: V, 193];

А.П. Чехов – А.С. Суворину, 28 июля 1893 г.: «Весной я не курил вовсе <...>, а теперь выкуриваю в день по 1–2 сигары и нахожу, что не курить очень здорово» [13: V, 216–217];

А.П. Чехов – В.А. Гольцеву, 4 сентября 1894 г.: «Учусь нюхать табак» [13: V, 312].

Но «поздний» Чехов будет вынужден защищать себя, хотя и не всегда успешно, от назойливых визитеров, душивших его табачным дымом.

Н.Д. Телешов: «Он ограничился только тем, что повесил на стене, на видном месте, записку: “Просят не курить”. И терпеливо молчал, когда некоторые посетители все-таки курили» [14: 471].

**Ароматы любви.** Письма Чехова разных лет к любящим его женщинам, их воспоминания о нем дышат ароматами любви, молодости, природы.

16 июля 1889. года Чехов, перманентно испытывавший «охоту к перемене мест», высадился в Ялте. Здесь судьба свела его с тремя сестрами Шавровыми – Еленой, Ольгой и Анной – с которыми он весело проводил время, давая попутно пятнадцатилетней Елене, имевшей склонность к писательству, уроки по литературной части. В письме Маше Чехов напишет: «Хваленые кипарисы <...> темны, жестки и пыльны. <...>. «Женщины пахнут сливочным мороженым» [13: III, 233].

Самые ароматные страницы чеховского эпистолярного наследия связаны с именем Лидии Стахиевны Мизиновой – Лики.

В письме от 17 мая 1891 года, отправленного из Алексина, Чехов взывает: «Золотая, перламутровая и фильдекосовая Лика! <...> Приезжайте нюхать цветы, ловить рыбку, гулять и реветь» [13: IV, 231].

Через год 28 июня 1892 года уже из Мелехова Чехов вновь вещает Лике о своем желании вдыхать ароматы любви: «...Или

нет, Лика, <...> позвольте моей голове закружиться от Ваших духов <...> [13: V, 87].

К весне 1893 года диспозиция на амурном фронте кардинально меняется, и уже Лика зазывает Чехова вдохнуть любовный аромат. Первого апреля, пытаясь выманить уклоняющегося от свидания Антона в Москву, она пишет ему: *«Приготовила вам духов, если долго не приедете, то духи подарю кому-нибудь <...>. Все мушкетеры подлецы! Приезжайте»* [16: 387].

После печальных последствий любовной истории Лики с И.Н. Потапенко Чехов на время прекращает переписку с ней. Возобновив ее после долгого молчания, он заверяет Ликой о своем желании поговорить с ней: *«писать же не о чем, так как все осталось по-старому и нового нет ничего»*. А в постскрипте добавляет: *«Маша просит, чтобы Вы привезли 2 пары перчаток и духов»* [13: VI, 17].

В марте 1897 года, когда в Лопасне появились первые скворцы, у Чехова открылось легочное кровотечение [16: 549]. Лидия Авилова, дважды навещавшая занедужившего доктора в клинике профессора Остроумова, вспоминала: *«Я пошла покупать цветы. Антон Павлович написал: “И еще что-нибудь”. Так вот, пусть цветы будут “что-нибудь”. “Ах! – вскрикнула сестра. – Но ведь этого нельзя! Неужели вы не понимаете, что душистые цветы в палате такого больного... Я испугалась. <...>. Все-таки, раз вы принесли, покажите ему. <...>. Он взял букет в обе руки и спрятал в нем лицо. – Все мои любимые, – прошептал он. – Как хороши розы и ландыши»* [14: 178].

Интересное свидетельство о женоненавистничестве Чехова, овеянное ароматами осенней Москвы 1898 года, оставила в своих воспоминаниях художница А.А. Хотяинцева: *«Была чудесная звездная ночь, после жары и духоты в цирке дышалось легко. Я выразила свое удовольствие по этому поводу, и Антон Павлович сказал: – Так легко, наверно, дышится человеку, который выходит из консистории, где он только что развелся!»* [14: 372].

Однако самому Чехову не удалось уберечь свое «легкое дыхание» от чужеродных ароматов и запахов, оказавшихся куда более сильными и крепкими, чем его любовь в свободе.

23 октября 1900 года Чехов прибыл в Москву с рукописью пьесы «Три сестры». На следующий день, вернувшись к себе в гостиницу после чтения пьесы перед труппой МХТа, он обнаружил записку от О.Л. Книппер, каждая строчка которой дышала нордическими ветрами:

*«Сиди в "Дрездене" и переписывай (пьесу – И.М), я приду, при-*

*несу духов и конфет. Хочешь? Ответь, да или нет?»* [15: 101].

25 мая 1901 года Чехов втайне от родных венчается с актрисой МХТа Ольгой Книппер. Событие это, несмотря на заверение, данное Чеховым сестре и матери, о том, что все останется по-прежнему, сыграло свою зловещую роль, прежде всего, в судьбе самого писателя, значительно приблизив его в той черте, которая разделяет мир на живых и мертвых.

Резкое изменение «климата» в семье Чехова тут же заявило о себе душными испарениями. В свой медовый месяц молодые отправились в Андреевский туберкулезный санаторий, находившийся в Уфимской губернии близ станции Аксеново, где Антон надеялся поправить свое здоровье. «В поезде их ожидала <...> неприятность: в купе не открывалось окно, и даже вызванный столяр не смог с ним справиться, так что пять часов пришлось ехать в духоте» [16: 704]. Однако при утреннем свете оказалось, что санаторий расположен в весьма живописной местности. «*Воздух был упоительный, благо- растворение удивительное <...>*» – сообщила о своих первых впечатлениях Книппер сестре Чехова Маше [16: 704].

В ялтинских письмах Чехова к Книппер даже редкие упоминания о живительной силе ароматов любви и природы с унылым постоянством перебиваются тоскливыми нотами, пропитанными запахами нездоровья и лекарств.

20 декабря 1902 г.: «*<...> а сегодня у меня грустный день, так как Арсений не принес с почты твоего письма. И погода сегодня грустная: тепло, тихо, весной и не пахнет*» [13: XI, 96];

20 февраля 1903 г.: «*Миндаль уже цветет, айва цветет, мне сегодня нездоровится*» [13: XI, 157];

4 октября 1903 г.: «*И письмо твое сегодняшнее такое хорошее, ароматичное, его можно раз десять прочесть, и оно не надоест*» [13: XI, 262].

Весной 1903 года О.Л. Книппер в очередной раз сменила квартиру, которая теперь находилась на четвертом этаже.

О.Л. Книппер – А.П. Чехову: «*Квартира хорошая, воздуху много будет, солнце*» [15: 637].

А.П. Чехов – О.Л. Книппер: «*Подниматься по лестнице! А у меня в этом году одышка. Ну да ничего, как-нибудь взберусь*» [15: 660].

О.Л. Книппер – А.П. Чехову: «*Лестницы не бойся. Спешить некуда, будешь отдыхать на поворотах, а Шнап <собака Книппер – И.М.> будет утешать тебя. Я буду тебе глупости говорить*» [15: 664].

В конце 1903 года с наступлением морозов Чехов приехал в Москву. Испытав прилив энергии, он чуть ли не ежедневно приходил на репетиции своей последней пьесы с ароматичным названием

«Вишневый сад», выводя из себя К.С. Станиславского: «Приехал автор и спутал нас всех. Цветы опали, а теперь появляются только новые почки» [16: 763].

Вспоминая о последнем приезде Чехова в Москву, Н.Г. Гарин-Михайловский с горечью писал: «В Москве квартира <> без подъемной машины. Полчаса надо было ему, чтобы взобраться к себе. Он снимал шубу, делал два шага, останавливался и дышал, дышал» [14: 598].

Дома, отдышавшись после изнуряющего преодоления нескольких лестничных пролетов, Чехов принимал друзей. Часто в ожидании жены он коротал время с Буниным.

И.А. Бунин: «Чаще всего она уезжала в театр, но иногда отправлялась на какой-нибудь благотворительный концерт. За ней заезжал Немирович во фраке, пахнувший сигарами и дорогим одеколоном, а она в вечернем туалете, надушенная, красивая, молодая, подходила к мужу со словами: „Не скучай без меня, дуся, впрочем, с Букишончиком тебе всегда хорошо... Чехов не отпускал меня до ее возвращения. <...> Часа в четыре, а иногда и совсем под утро возвращалась Ольга Леонардовна, пахнувшая вином и духами... „Что же ты не спишь, дуся?.. Тебе вредно“» [14: 504–506].

Похожую сцену описала в своих воспоминаниях и Т.Л. Щепкина-Куперник, завершив ее примечательной ремаркой: «А.П. поглядел ей вслед, сильно закашлялся и долго кашлял <...> и, когда прошел приступ кашля, сказал без всякой видимой связи с нашим предыдущим разговором, весело вертевшимся около воспоминаний Мелихова, прошлого, общих друзей: “Да, кума... помирать пора”. После этого раза я больше не видела А. П.» [14: 258].

**Запахи болезни и смерти.** В конце 90-х – начале годов 1900-х гг. знаковой составляющей ольфакторной ауры Чехова становится запах принимаемых им лекарств, в число которых входили и инъекции мышьяка. Запах последних Чехов заглушал фиалковым ароматом одеколона «Vera-Violet-ta» [16: 562]. Для облегчения дыхания доктор Альтшуллер велел Антону натирать грудь эвкалиптовым маслом и скипидаром [16: 712].

К.А. Коровин, навещавший Чехова в Ялте в апреле 1904 года, отметил в своих воспоминаниях: «В комнате Антона Павловича все было чисто прибрано, светло и просто <...>. Пахло креозотом» [14: 31]. Приехав летом 1904 года в Германию, Чехов уже был не в состоянии дышать полной грудью. При каждом движении его мучила одышка. Врач Шверер назначил больному кислород и инъекции наперстянки. О.Л. Книппер впрыскивала мужу морфия.

В одном из последних своих писем из Баденвейлера к сестре Чехов напишет, что «от «одышки единственное лекарство – это не двигаться» [13: XII, 133].

Интересно, что Дональд Рейфилд, автор книги «Жизнь Антона Чехова, озаглавил заключительную часть своего исследования «Любовь и смерть», предварив ее примечательным эпиграфом: «*В комнате стоял запах человеческого пота, лекарств, эфира, смолы – удушливый, непередаваемый запах, пропитывающий помещение, где дышит чахоточный [Ги де Мопассан. Милый друг]*» [16: 670].

Ряд писем Чехова и воспоминаний о нем содержат уникальные «арома-метафоры», которые, благодаря своему символическому потенциалу, обретают статус биографических текстов «ольфакторного жанра».

А.П. Чехов – Л. Авилловой: «*Вы хотите знать, счастлив ли я? Прежде всего, я болен. И теперь я знаю, что очень болен. <...> Вы пишете о душистой росе, а я скажу, что душистой и сверкающей она бывает только на душистых, красивых цветах*» [14: 206].

М. Горький: «*Но я видел, как А. Чехов, сидя в саду у себя, ловил шляпой солнечный луч и пытался – совершенно безуспешно – надеть его на голову вместе со шляпой. И я видел, что неудача раздражает ловца солнечных лучей <...>. А увидев меня на крыльце, сказал, ухмыляясь: “<...> Вы читали у Бальмонта “Солнце пахнет травами”? Глупо. В России солнце пахнет казанским мылом, а здесь – татарским потом”...»* [14: 455–456].

Тело А.П. Чехова, умершего в Германии, было привезено на родину в вагоне «для перевозки устриц». Так, по словам М. Горького, «*холодное, пахучее дыхание все той же пошлости, втайне довольной смертью врага своего*» напоследок «*отомстило ему скверненькой выходкой*» [14: 449].

По иронии судьбы в коллективном сознании «нечитателей» Чехова его чисто внешний образ прочно связан с портретом кисти И. Бразы, который самому Чехову был неприятен: «*выражение <...> такое, точно я нанюхался хрену*» [16: 592].

#### **Список литературы**

1. Ароматы и запахи в культуре: в 2 кн. – М., 2003.
2. Бабкина, В.В. Динамика взаимодействия сознаний повествователя и персонажа в «футлярной» серии рассказов Чехова: ольфакторный код // Культура и текст: Миф и мифопоэтика. – СПб., 2004. – С. 158–166.
3. Богданов, К. «Тлетворный дух» в русской литературе XIX века: (анти) эстетика как мораль // Ароматы и запахи. – М., 2003. – Кн. 2. – С. 101–133.
4. Вайнштейн, О.Б. Грамматика ароматов // Ароматы и запахи в культуре. – М., 2003. – Кн. 1. – С. 5–12.
5. Григорьева, О.Н. Мир запахов в языке Чехова // Функционирование и семантические характеристики текста, высказывания, слова. – М., 2000. – С. 182–191.
6. Дмитриева, Е. Запахи в усадьбе // Ароматы и запахи. – М., 2003. – Кн. 2. – С. 134–166.

7. Ильюхина, Т.Ю. «Я стараюсь, чтобы у них был общий запах и общий тон...» // Вестник Санкт-Петербургского университета. – СПб., 2005. – Сер. 9. – Вып. 2. – С. 3–16.
8. Карлик Н.А. «Уходят запахи и звуки...» (по романам В.В. Набокова) // Феномен повседневности: гуманитарные исследования. Философия. Культурология. История. Филология. Искусствоведение. – СПб., 2005. – С. 179–185.
9. Кирсанова, Р. Аромат родного дома и запах счастья // Ароматы и запахи. – М., 2003. – Кн. 2. – С. 270–279.
10. Козубовская, Г.П., Фадеева Е.Н. Мифологема запаха в романе И.С. Тургенева «Дым» // Культура и текст: Миф и мифопотика. – СПб., 2004. – С. 158–166.
11. Кушлина, О. От слова к запаху: русская литература, прочитанная носом // Ароматы и запахи. – М., 2003. – Кн. 2. – С. 62–74.
12. Николина, Н.А. Мир запахов в художественной прозе А.П. Чехова // Русский язык в школе. – 2004. – №3. – С. 68–74.
13. Чехов, А.П. Полное собрание сочинений и писем: в 30 т. – М.: 1974–1983. – Письма. – Т.1–12.
14. Чехов А.П. в воспоминаниях современников. – М.: Худ. лит., 1986.
15. Чехов А. П. Переписка с женой. – М.: Захаров, 2003.
16. Рейфилд, Д. Жизнь Антона Чехова. – М.: Независимая газета, 2005.

УДК 821.161.1.09

*О. И. Туманова\**

### **Вопросы сказочной фантастики в литературной эстетике и критике М. Л. Михайлова**

В статье рассматривается литературно-критическое наследие популярного беллетриста, поэта и критика 1850–1860-х гг. М.Л. Михайлова, в контексте социокультурных процессов формирования в русской литературной эстетике «русского воззрения».

This article describes the critic-literary legacy of popular fiction writer, poet and critic of 1850-1860<sup>th</sup> M.L. Michailov in the context of sociocultural processes and with-in the forming of “the Russian view ” in Russian literary esthetics.

*Ключевые слова:* сказка, повесть, роман, фантастика, народная словесность.

В сравнении с критико-публицистической словесностью 1820–1840-х гг., много внимания уделявшей вопросу национального самосознания, гораздо сложнее вычлнить представление о сказке и сказочном в русской литературной эстетике 1850-х гг. Значительную помощь в воссоздании картины социокультурных и историко-литературных процессов периода оказывает художественное наследие Ми-

---

\* Кандидат филологических наук, доцент, Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена

хаила Ларионовича (Илларионовича) Михайлова (1830–1865), известного в те годы поэта, переводчика, критика и беллетриста. Вопросами сказочной фантастики писатель специально не занимался, но тема возникала в его критических работах по разным поводами литературной истории и эстетики.

Наряду с Н.А. Некрасовым, И.С. Тургеневым и Д.В. Григоровичем, Михайлов редактировал популярный детский журнал «Подснежник», в 1858–1862 гг. издававшийся В.Н. Майковым. На страницах журнала являлись новинки тогдашней «изящной» словесности: романы В. Скотта и Ч. Диккенса, литературные опыты отечественных писателей. Специальную, выделенную линию журнала составляли фантастические и сказочно-сатирические сочинения: русские сказки А.Н. Афанасьева, сказки судетских горцев, произведения Гриммов и сказки Михайлова.

В отношении к сказочному жанру рассматриваемая историко-литературная стадия имела особенности. В период «мрачного семилетия» (1848–1855) интерес к сказке в России несколько гаснет. Возможностей творческого воссоздания и публикации не получает даже такая политически неопасная разновидность сказки, как волшебная фольклорная и литературная «чудесная» сказка. Одним из последних сказочных сочинений, увидевших свет *накануне* периода, становится сказка «Мороз Иванович» В.Ф. Одоевского. Отдельным изданием книга выходит в 1847 г., своим явлением обнаруживая смещение фантастики в сторону литературной дидактики. Первым *по окончании* периода изданием в жанре сказки, публикацией социально-заостренной и сатирической, оказывается вторая редакция «Конька-горбунка» П.П. Ершова (1856). Продуцирование литературно-сказочных текстов впоследствии активизируется: С.Т. Аксаков издает «Аленький цветочек», якобы бы записанный со слов ключницы Пелагеи (1857); появляются журнальные публикации «Русских сказок для детей» Михайлова, «Народные русские сказки» и «Народные русские легенды» (лондонское издание) Афанасьева (1858–1859). Прорыв жанра происходит в последние десятилетия XIX в., но срединные годы столетия из истории сказки словно бы выпадают.

В общественно-культурной ситуации «замалчивания» сказки на грани 1850–1860-х гг. обращает на себя внимание «Руководство к изучению словесности» М.Ф. Архангельского (1857). «Проекция времени» на литературную теорию в «Руководстве» принимает своеобразные формы: вопросы сказочной специфики в книге вообще не рассматриваются. Автор не включает сказку в раздел пособия, посвященный «Частной словесности», не упоминает о сказке в «Особом замечании о словах мифологических», – словом, не выказывает сколько-нибудь серьезного отношения к сказке ни как к самостоя-

тельной литературной целостности, ни как к культурно-общественному феномену. Прозаические сочинения Архангельский вообще делит лишь на исторические и научно-философские, при этом никак не оговаривая словесность «изящную».

Положение сказки в общественной жизни России середины XIX в., можно сказать, складывается двойственное. Сказка, с одной стороны, как будто и получает практическое признание, свободно обращается в культурном быту всех сословий, да и в «изящной» литературе, в жанре автобиографической повести-воспоминания обретает даже некий ореол «детскости» восприятия, делается поэтическим символом, синонимом незамутненности, чистоты жизни, неотъемлемой составляющей мира дворянской усадьбы. Вместе с тем в «памяти» отечественной культуры продолжает бытовать другое, из глубины XIV–XVII вв. идущее отношение к сказке – официальный запрет «баять сказки», инициированный церковью и учрежденный государственными актами царя Алексея Михайловича. В теоретическом «Руководстве» Архангельского реанимировано именно такое отношение к сказке, что для профессора-магистра Петербургской духовной семинарии в целом естественно. В сочинении церковного публициста более позднего времени мы обнаруживаем ту же тенденцию. В работе К.Д. Думитрашкова «Сказки и нравственно-воспитательное их значение» (1873) вопрос о сказке комментируется с той точки зрения, что «сказка вообще, а Пушкинская в особенности, вместо того, чтобы толковать о ценностях небесных, печется о справедливом распределении благ земных» [5: III, 572].

В критических работах Михайлова открывается противоположная грань само рефлексии русской литературы, притом что, по замечанию Б.Ф. Егорова, Михайлову временами «не хватает умения эстетически анализировать, недостает общего взгляда, общей концепции» [6: 87]. В своем отзыве на издание А.Ф. Смирдиным в 1853 г. сочинений Антония Погорельского размышления о сказочной фантастике Михайлов связывает с проблемой автономии словесного искусства. Значительная часть статей Михайлова вообще посвящена «литературоведению, а не критике» [6: 87], и главным критерием анализа в них становится «верность оригиналам», т. е. правдивость в соединении с художественностью.

О таланте «сказочника» Погорельского Михайлов не очень высокого мнения. Признавая принадлежность Погорельского «к числу наиболее любимых русской публикой беллетристов» [7: 17], критик не соединяет этот факт с потребностями новой литературной эпохи. В повести «Двойник» «русского Гофмана» Погорельского «дело не обходится без примеси сверхъестественного» [7: 17]. Но, по твердому убеждению Михайлова, это не соответствует веяниям времени. Мистическая фантастика в литературе сегодня малоинтересна, не-

значительна, второстепенна. Для 1850-х начала 1860-х гг. суждение Михайлова весьма типично. К тому же во всех повестях «Двойника», утверждает Михайлов, «русского очень мало, даже в тех, где действие происходит в России» [7: 19], поскольку Погорельский «везде держится битой дороги», «не питает отвращения к рутине (благо она легка!) и к общим местам» [7: 17].

Эстетические вкусы и самого Михайлова, правда, отличаются некой аморфностью [6: 85]. Но подобная «всеядность» показательна также. Она есть проявление «среднестатистичности», «массовости» взглядов писателя. Неспроста в эти годы Михайлову одинаково успешно удается сотрудничать в литературных изданиях конкурирующего характера: и в «Современнике» Некрасова, и в «Русском вестнике» М.Н. Каткова, и в «Русском Слове» А.А. Григорьева, и в «Библиотеке для чтения» А.В. Дружинина и А.Ф. Писемского. Литературно-эстетическая индифферентность Михайлова словно бы отвечает социокультурной ситуации времени. «Реальная» критика и представители «чистого искусства» в литературе разойдутся, но несколько позже. Пока же, до начала революционной ситуации в России 1859–1861 гг., они все еще вместе: дружеские отношения Михайлов сохраняет с Я.П. Полонским и А.Н. Майковым, Н.Ф. Щербиной и Л.А. Меем, Н.Г. Чернышевским и Н.В. Гербелем.

Размышляя над тем, в каких именно формах происходит «сильное влияние Гофмана» на Погорельского, русскую фантастику и литературную сказочную повесть, Михайлов акцентирует внимание на приемах, по его мнению, заимствованных из немецкой романтической новеллистки [7: 19]. Воспроизведение соответственных повествовательных ходов в русской прозе замечено, конечно, не только Михайловым. Но Михайлов теме взаимодействия новеллы и сказки, сказки и повести, романа и сказки придает другую смысловую перспективу.

В эстетике XVIII столетия линия авторской сказки в отечественной культуре (по признаку вымышленности) роднилась с романом. «Романы не что иное есть, как вымыслы любовных приключений, написанные прозой с искусством для забавы и наставления читателей», – считал П.Д. Гюзэ [4: 4]. В противоположность этому, с повестью в XVIII в. ассоциировалось представление о повествовании достоверном, документальном. Старинные значения термина «повесть» («весть о каком-либо событии», «описание», «разговор») указывали на «говорное», как и у сказки, происхождение жанра. В процессе становления повесть вбирала множество устных рассказов – повествований, фиксирующих события характера как общего, так и частного, но непременно *виденные или пережитые самими рассказчиками*. По линии собственно письменной культуры повесть соединялась еще и с летописною прозой. Весь прорисованный

спектр множественных значений понятия «повесть» актуализировался в отечественных «гисториях» – переводных и оригинальных повестях эпохи Петра Великого. Одновременно в русской прозаической повести XVIII столетия любовно-авантюрной тематики на первый план постепенно начал выдвигаться «квантор неожиданности», критерий интриги. Потенциальное его присутствие в литературном тексте способствовало «безболезненному» усвоению сказочной фантастики и романтического двоемирия, в связи с чем, в частности, первая в русском XIX столетии повесть-сказка «Черная курица, или Подземные жители» Погорельского самым автором была квалифицирована как «волшебная» повесть. Так в словосочетании, с точки зрения истории русской словесности, казалось бы, оксюморонном, органическое отражение нашла тенденция жанрового сближения сказки с письменной повестью.

Как бы воссоздавая данный процесс в аналитическом размышлении, роман Погорельского «Монастырка» Михайлов оценивает критически. Данью литературной моде именует он авторское предисловие. «Предварительные объяснения с читателями были просто в употреблении – вот и все», – уточняет Михайлов, и о романе писателя говорит как о «слишком далеком от действительности», в сущности сказке [7: 10]. Наряду с тем предисловие, «композиционно» воздействующее на читателя, показательно для критика в другом отношении. В нем «проглядывает», по словам Михайлова, художническое желание «внушить *доверенность* к рассказу» (выделено мною – О.Т.) [7: 10], характерное более для повести, что в глазах литератора есть уже не только и не столько выражение «бледности» повествования, сколько подтверждение радения отечественной беллетристики «представлять перед нами» реальную действительность «без покрыва», как правду жизни [8: 316].

В 1850-х в начале 1860-х гг. Михайлова привлекают эстетическая «целомудренность и девственность чувства», «доброжелательно-кроткий, практически-гуманный взгляд на вещи» [8: 310]. Соответствующие качества критик обнаруживает в произведениях американских поэтов и романистов, выгодно отличающихся с этой точки зрения от «разлагающей иронии немцев» [8: 310–311]. «Дикая» оригинальность фантастической новеллистики Эдгара По самобытна, но способна и «пугать» читателя в его «темных сказках» [8: 321]. Этого не скажешь о Генри Лонгфелло. «Смутная фантастическая форма», когда поэт «насилует фантазию и искусственно вымогает из нее то, чего она не может ему дать добровольно», «не дается» Лонгфелло, что для него благо [8: 317]. Понятие *фантастического*, таким образом, Михайлов трактует буквально: как «сверхъестественное» в значении «не гармоническое». По убеждению критика, эстетическая позиция находимости «сверху» естества «насилует»,

разрушает, что претит натуре самого Михайлова, его жизненным принципам.

Это подтверждают свидетельства мемуаристики. Знавшие Михайлова современники неизменно пленялись прямоотой, необыкновенной добросердечностью литератора. Познакомившись с Михайловым в 1860 г., П.В. Быков, впоследствии первый биограф писателя, очарован его глубокой искренностью, сочетавшейся с большим умом, огромной начитанностью, разнообразием знаний [3: 149]. Ненасильственность характера, деликатность, терпимость Михайлова, правда, порой не имели границ, доходили едва ли не до легкомыслия [3: 150]. Все искупало литературное дарование: умение рассказывать «очень красиво, очень образно, не без лиризма» [3: 149].

Проглядывающее в критических суждениях Михайлова сходство с идеями Аполлона Григорьева здесь также отнюдь не случайно. Как и Григорьев, Михайлов пользуется лексиконом «органической» критики: выражениями «органический процесс творчества», «полная искренность поэта» и др. [6: 91]. Подобно Григорьеву, Михайлов пробует также отыскать некий «третий путь» в критике; отвергая эстетический «дидактизм», не приветствует методы, используемые критиками «искусства для искусства».

Стремление народа узнать историю своей словесности, – процесс такой же естественный, как и самое явление и развитие словесности каждого народа, утверждал еще С.П. Шевырев («История поэзии», 1835; «Теория поэзии в историческом развитии у древних и новых народов», 1836). Таким естественным процессом усвоения «с молоком матери» национальной поэтической культуры была любовь Михайлова к народной песне и сказке, воспитанная всем укладом домашней, семейной жизни. Предки Михайлова вышли из крепостных; в семье отца, всю жизнь упорно занимавшегося самообразованием и благодаря замечательным личным качествам совершившего честную карьеру чиновника, добившегося дворянского звания для своих детей, царило уважение к труду; неизменно звучала в доме русская песня, которую знали и любили родственницы писателя по женской линии. Наконец, была у Михайлова и своя «Арина Родионовна» (или «ключница Пелагея»): дворовая Устинья-птичница, песни и сказки которой писатель хранил в памяти с детства. Об этом писатель «проговаривается» в автобиографическом рассказе «Святки» (1853): «И впереди всех этих мифических образов, обступающих меня при воспоминании об Устинье-птичнице, является мне она сама, как одно из чудесных видений туманного сказочного мира» [9: 48]. Даже при общем взгляде на беллетристическое творчество Михайлова видно, что народная словесность – источник образности его прозы, и не только фантастической.

Еще рельефнее характер литературно-эстетических воззрений Михайлова, в том числе касающихся сказки и литературной фантастики, проступает в контексте социокультурных процессов, в русле осознания того процесса формирования «русского воззрения», который, как проблема, был заявлен в публицистике славянофилов 1830–1850-х гг. Одними из первых в литературной критике славянофилы «выговорили одно единственное слово: народность, национальность» [2: 260]. Поиски «образа русской общины» в отечественной истории и литературе они воплотили наиболее последовательно, и в толковании этой «эмблемы» между ними и Михайловым есть нечто общее.

По характеристике К.С. Аксакова-критика, например, «сказочный мир дней Владимировых» – мир былинный, не собственно сказочный. Но одновременно этот фантастический мир народного словесного искусства – мир «целый», «движущийся и играющий одною жизнью, весь ею проникнутый» («Богатыри времен великого князя Владимира по русским песням», 1856) [1: 93]. «Этим духом проникнуто, этим духом запечатлено все, что идет от русской земли; такова сама наша песня, таков напев ее, таков строй земли нашей» [1: 93].

По Михайлову сознание народа целостно и целостно усваивается сознанием маленького ребенка. Поэтическая картина мира в «Святках» Михайлова, вне всякого сомнения, сопоставима с картиной фольклорно-сказочной, узнаваема по характерным деталям: «Словно вижу я, как несется могучий конь с могучим всадником, застилая хвостом поля, пропуская реки между копыт; облака ходячие неподвижны над ним, леса стоячие назад уходят... как лежит удалой богатырь на сырой земле, припал к ней ухом и слышит погоню за собою; и плачет царевна, сидя в седле, и молит своего друга помочь горю, и нет уже ни богатыря, ни царевны, ни коня, а стоит либо церковь с колокольней да со старым чернецом, либо избушка с колодцем да дровосеком» и пр. [9: 46]. «Русское воззрение» осуществляется писателем в формах, присущих народному типу мышления, в органическом переплетении мотивов былины, и песни, и сказки. Наклонность Михайлова к этнографии, к изучению быта и местностей, где протекала его жизнь, естественным образом проявились в нем под влиянием ближайшего окружения. Приходившийся Михайлову родственником В.И. Даль, известный лексикограф, собиратель сказок и беллетрист-народник, побудил писателя собирать народные сюжеты, создавать авторские версии сказок. Так родился в творчестве писателя цикл «Русские детские сказки», отдельным изданием без подписи автора вышедший в 1864 г.

Если «русский дух» в критике К.С. Аксакова определяется через отсутствие в славянине буйной отваги и удали; его характеризуют спокойствие и некая «тихость», отождествляемая Аксаковым с

внутренней – *не гордой* – богатырской силой Ильи Муромца («Ломоносов в истории русской литературы и русского языка», 1846) [1: 50–51], то в литературной эстетике Михайлова то же качество соотносится с требованием соблюдать некую «меру фантастического». Переработка народной сказки, по Михайлову, требует реализации ряда моментов. Во-первых, актуализации героической сказочной тематики, но в варианте не былинно-гиперболическом, а в более *мягком*, сказочно-богатырском (сказки Михайлова «Булат-молодец», «Илья Муромец»). Сугубо фантастическая, мифологическая, «магическая» сказка Михайлову не интересна, и это второе. В эстетике писателя фантастические и сказочные получают либо лирическую, песенную окраску («Святки»), либо соединяются с элементами социальной сатиры («Два Мороза», «Три зятя»), наконец, способны граничить с т. н. «пассеистской» утопией («За пределами истории», 1864).

Как видим, с точки зрения изучения русской беллетристики XIX в., в том числе сказочно-фантастической, литературная эстетика Михайлова заслуживает внимания. Практически обойденная современными исследователями, мало известная широкому кругу читателей, в перспективе развития отечественной филологии и истории культуры она все-таки интересна, актуальны ее идеи и принципы.

#### Список литературы

1. Аксаков, К.С., Аксаков, И.С. Литературная критика. – М.: Современник, 1981.
2. Боткин, В.П. Письмо к П.В. Анненкову // Западники 1840-х гг. – М., 1910.
3. Быков, П.В. Силуэты далекого прошлого. – М.; Л., 1930.
4. Гюэ, П.Д. [Гуэция] историческое рассуждение о начале романов, с прибавлением Беллергардова разговора о том, какую можно получить пользу от чтения романов. – М., 1783.
5. Думитрашков, К.Д. Сказки и их нравственно-воспитательное значение: Руководство для сельских пастырей. – Киев, 1873.
6. Егоров, Б.Ф. Михайлов – критик // Уч. зап. Тартусского ун-та (Труды по русской и славянской филологии, IV). – Тарту. – 1961. – Вып. 10. – С. 84–105.
7. Михайлов, М.Л. Сочинения Антония Погорельского. // Отечественные записки. – 1853. – № 9. – Отдел 5 «Новые сочинения». – С. 9–19.
8. Михайлов, М.Л. [Мих. Михайлов]. Новый роман Джорджа Элиота «Мельница во Флоссе» // Современник. – 1860. – № 10. – Раздел VII. – С. 313–414.
9. Михайлов, М.Л. Святки. – СПб., 1897.

# ЯЗЫК И ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ

УДК 376.1. – 058.264

**А. Н. Анусимова\***

## **Проблемы изучения словосочетания в специальной (коррекционной) школе**

Статья посвящена актуальным проблемам статуса словосочетания в русском синтаксисе и вопросам приоритетов в изучении синтаксических единиц в общеобразовательной и специальной (коррекционной) школе.

This article is devoted to actual problems of syntax units in russian syntax and also to changing of priorities in syntax units studying in normal and special correction schools.

*Ключевые слова:* словосочетание, специальная (коррекционная) школа, дети с задержкой психического развития (ЗПР), грамматическое структурирование.

Опыт экспериментального обучения детей с ЗПР в специальных классах показывает, что их устная речь отличается не только бедностью словаря, но и примитивностью грамматических конструкций, поскольку языковые обобщения у детей с ЗПР формируются хуже, чем у их нормально развивающихся сверстников.

Во многих исследованиях, касающихся развития детей с ЗПР, отмечается, что низкий уровень познавательной активности этих детей, незрелость мотивации к учебной деятельности, сниженная способность к приему и переработке перцептивной информации, недостаточная сформированность операций анализа, сравнения, синтеза приводят к отклонениям в речевом развитии при сохранности анализаторов, необходимых для благоприятного становления речи.

Особенности монологической речи старших дошкольников с ЗПР исследованы Е.С. Слепович [5]. В частности, ею выявлено большое число сбоев в грамматическом оформлении речевого высказывания, с прямой зависимостью количества аграмматизмов от увеличения объема высказывания. Среди характерных аграмматизмов, выделенных Е.С. Слепович, отметим следующие:

1. Ошибки в управлении и согласовании («И в этой сумке много газеты, журналы»).
2. Ошибки в употреблении служебных слов («Лампа висит в столе»).

---

\* Кандидат филологических наук, доцент, Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина.

3. Структурная неформленность высказывания («Возле другой машины, где подъемный другое дерево там кран» и т. п.).

Материалы исследования показывают, что в речи ребенка с ЗПР предложение не строится каждый раз заново, а воспроизводится автоматизированная фраза или просто перечисляются субъекты и объекты действия. Неумеренное употребление служебных слов связано с неумением структурно оформлять предложения, что свидетельствует о несформированности внутреннего программирования и грамматического структурирования. Незрелость операции программирования проявляется у детей с ЗПР в трудностях планирования развернутого высказывания, которое подменяется воспроизведением готовых речевых штампов.

Недостаточно развитая операция грамматического структурирования проявляется в большом числе грамматических сбоев при оформлении высказывания. Думается, что названные особенности монологической речи детей с ЗПР можно использовать при их обучении русскому языку: для этого в методическом аппарате учебников следует увеличить количество заданий, связанных с построением словосочетаний различных моделей. О необходимости серьезной модификации учебного материала для развития речи детей с ЗПР свидетельствуют и те специфические ошибки письменной речи, которые выделила в своем исследовании Г.Н. Рахмакова [4]. В частности, она отмечает, что для письменных работ учащихся данной категории характерны специфические ошибки, связанные с формальным словообразованием, ситуативной группировкой и применением слов, сходных семантически, но разных по звучанию, с синтаксическим оформлением предложения, т. е. неумением выделить его из текста.

Учащиеся с ЗПР способны воспринимать, удерживать в оперативной памяти и устно воспроизводить предложение из 8–10 слов, построение которого соответствует привычным для их речи стереотипам, а само сообщение отражает наглядную ситуацию и последовательность слов совпадает с последовательностью протекания событий. Письменное же воспроизведение таких предложений вызывает у детей значительные трудности. Ошибки, выделенные Г.Н. Рахмаковой в результате анализа работ детей с ЗПР по конструированию предложений, в основном состоят в следующем:

- 1) отсутствие предлогов, их неправильное употребление, нарушения грамматических форм слов, неоправданные инверсии;
- 2) синтаксические ошибки вида нарушения согласования слов (их особенно много у детей с ЗПР), к которым Г.Н. Рахмакова относит нарушения согласования в падеже, согласования определения с определяемым словом, нарушения согласования сказуемого с подлежащим;

- 3) нарушения порядка слов в предложениях (неправильная постановка определения, его пропуск или замена на косвенное дополнение) [4].

По мнению исследователя, наличие ошибок данного типа обусловлено тем, что дети с ЗПР затрудняются как в самом сочетании слов в предложении (!), так и в осознании значения, которое слово вносит во фразу.

Очень серьезные трудности дети с ЗПР испытывают в употреблении и введении в структуру предложения имен прилагательных. Причиной этого обычно называют позднее, по сравнению с нормальным онтогенезом появление прилагательных в речи детей с ЗПР. Однако мы согласны с мнением Г.Н. Рахмаковой, которая полагает, что причина здесь кроется и в явно недостаточном оперировании прилагательными на первых годах обучения (т. е. в 1–2 классе массовой школы).

Все исследователи детской речи отмечают, что и в речи младших школьников общеобразовательных школ мало имен прилагательных, особенно в роли определений; они советуют, развивая речь учащихся, обращать внимание и на эту сторону.

Трудности в произвольном оперировании словами связаны у детей с ЗПР с неумением устанавливать как парадигматические, так и синтагматические связи слов (в то время как нормально развивающиеся дети затрудняются в основном в установлении синтагматических связей). При употреблении второстепенных членов предложения детьми с ЗПР отмечаются значительные трудности. В их речи много незаконченных, бессмысленных предложений с элементами аграмматизмов. Чаще всего неправильно составленные (по опорным словам) предложения отмечаются при опорном слове-прилагательном. Основная причина – неправильное осмысление семантики слов («Сегодня на улице снежный мороз», «Я снежный» и т. п.). Часто вместо предложений дети составляют словосочетания («Красивый дом»). Среди словосочетаний, составленных детьми с ЗПР, большую часть образуют стереотипные и неадекватные словосочетания (дождливый – дождливая погода; снежный – снежная погода; дождливый червяк; снежный снег). Таким образом, можно говорить о затруднениях в преднамеренном использовании имен прилагательных вследствие ограниченных лексических возможностей детей с ЗПР (по сравнению с нормой). Это отличает речевое развитие детей с ЗПР от нормального развития: при нормальном развитии семантика слов не влияет на образование словоформ [7]. Правильность же речевого высказывания ребенка с ЗПР часто зависит от того, насколько слово знакомо ребенку (согласно исследованиям Т.В. Егоровой, Г.И. Жаренковой, В.И. Лубовского, Е.С. Слепович, Р.Д. Тригер, С.Г. Шевченко, И.А. Цыпиной, Л.В. Яссман и др.).

Р.Д. Триггер, изучая практическое оперирование детьми с ЗПР парадигматическими формами слов, пришла к выводу, что для этих детей не представляет трудностей конструирование предложений из набора слов (в их числе и предлоги) в их начальной форме, если количество лексем невелико. Усложнение семантики слов, необходимость самостоятельного выбора предлога ведут к затруднениям. Оформление предложения во многом зависит от того, насколько знакома ребенку семантика лексемы. Ошибки детей не связаны с употреблением рода и числа, а распространяются на согласование слов в падеже и именно в тех падежных флексиях, которые сравнительно поздно формируются в онтогенезе речи нормально развивающегося ребенка.

Исследования Р.Д. Триггер, как и данные Г.Н. Рахмаковой [4], Л.В. Яссман [8] также свидетельствуют о том, что младшие школьники с ЗПР практически владеют грамматическим строем языка. Отдельные трудности, испытываемые этими детьми при грамматическом оформлении речи, следует расценивать как элементы аграмматизма, понимая под аграмматизмом неумение грамматически правильно изменять слова и строить предложения, а также недостаточное понимание значения грамматических форм. Это определение можно соотнести со словосочетанием: неумение строить предложение в основном проявляется не в ошибках при оформлении его предикативной основы (хотя это тоже можно считать словосочетанием особого вида), а в неправильном оформлении подчинительных способов синтаксической связи, т. е. словосочетаний разных типов.

Школьники с ЗПР в основном адекватно используют в речи категории числа, рода и падежа (с некоторыми трудностями в отношении среднего рода существительных и употреблении форм родительного и творительного падежа). Уровень сформированности грамматического строя речи детей с ЗПР достаточен для овладения курсом грамматики и правописания, в основе которого положена учебная программа массовой школы. Специальная работа необходима лишь для коррекции употребления отдельных грамматических форм, в частности, существительных родительного падежа множественного числа и творительного падежа единственного числа. Наиболее кропотливой и развернутой должна быть коррекционная работа по уточнению и расширению лексического запаса школьников [7].

Такой вывод вызывает некоторые сомнения, прежде всего потому, что автор исследовал лишь некоторые особенности детей с ЗПР в овладении грамматическим строем речи. Фактически для экспериментального рассмотрения были взяты только три грамматические категории имен существительных (род, число и падеж). За предела-

ми рассмотрения остались не менее важные категории, являющиеся показателями овладения детьми грамматическим строем речи. Представляется несколько преувеличенной роль лексической составляющей работы по развитию речи детей с ЗПР, ведь те ошибки, которые выделила Р.Д. Триггер, свидетельствуют о проблемах при конструировании словосочетаний различных моделей.

В том же направлении осуществляла исследование особенностей употребления грамматических категорий детьми с ЗПР Л.В. Яссман [8]. Ею, в частности, отмечается, что уровень владения обычной разговорной речью не всегда прямо определяет успешность ребенка в изучении языка как предмета.

Следует отметить, что наибольшие трудности дети с ЗПР испытывают при составлении предложений, в которых требуется передать пространственные отношения как разновидность обстоятельственных отношений.

В синтаксическом плане представляют значительную трудность конструкции, предусматривающие последовательное подчинение. Сложным является составление предложений, где надо образовать отсубстантивное прилагательное (вместо определения называется обстоятельство или дополнение). Часты замены прилагательных существительными при составлении предложений, что свидетельствует о трудностях употребления прилагательных и т. д.)

Все названные особенности употребления детьми с ЗПР различных грамматических форм следует учитывать при разработке методики обучения детей русскому языку и в частности, при овладении синтаксическими единицами и категориями.

Применяемые в массовой школе методы развития речи не обеспечивают необходимой помощи в формировании речевой компетентности, особенно у детей с ЗПР, которые, обучаясь в массовой школе, находятся в неблагоприятных условиях по сравнению с нормально развивающимися одноклассниками. Необходимо уделять особое внимание развитию способностей детей к грамматическому оформлению высказывания, в том числе и у нормально развивающихся детей.

Исследователи речевого развития детей с ЗПР указывают на недостаточное использование ими слов со значением свойств и качеств предметов и действий, абстрактных и собирательных понятий. Учащиеся с ЗПР не в полном объеме владеют синонимическими и антонимическими средствами языка.

По данным многих методистов-дефектологов (И.М. Гилевич, К.Г. Коровин, Л.Ф. Спирина, Р.Д. Триггер, Л.В. Яссман), по мере завершения коррекционного курса обучения русскому языку в начальных классах в речи детей с отклонениями в развитии меняется соотношение в использовании знаменательных частей речи. Так, наблю-

дается положительная тенденция к повышению числа прилагательных, наречий и местоимений. Вместе с тем отмечается, что даже после изучения курса морфологии в речи учащихся (устной и письменной) отсутствуют причастия и деепричастия [6; 7; 8].

Недостаточная сформированность грамматического строя у учащихся с отклонениями в развитии выражается, прежде всего, в наличии морфолого-синтаксических ошибок. Выделяются три группы таких ошибок:

- 1) ошибки в формообразовании, связанные с недифференцированным употреблением падежных окончаний существительных по родовой принадлежности, по типу склонения и отнесенности к разряду одушевленности: ошибки в употреблении видо-временных и залоговых форм глагола;
- 2) ошибочные замены одних частей речи другими, взаимозаменяемы различных лексико-семантических разрядов внутри одной части речи;
- 3) ошибки в согласовании и управлении.

Недостаточная сформированность грамматических умений, по данным ряда исследователей, наблюдается у многих учащихся с ЗПР, оканчивающих начальную школу.

На фоне недостаточной сформированности и устойчивости структуры простого предложения, примитивности грамматических конструкций имеют место ошибки в предложно-падежном управлении, в согласованности существительных с прилагательными (типа «лебедя разбудила шум волн», «была жаркое лето»).

По данным Е.В. Мальцевой [3] до 40 процентов детей с ЗПР 3–4-х классов имеют те или иные отклонения в лексико-грамматическом оформлении речи. Для речи детей характерны ограниченный круг используемых частей речи (в основном существительные, глаголы и личные местоимения), затруднения в словообразовании, аграмматизм.

В целом исследователи сходятся во мнении, что младшие школьники с ЗПР (3–4 классы) практически владеют грамматическим строем языка, однако испытывают определенные трудности, которые выражаются в отдельных случаях в аграмматизме, в неумении грамматически правильно изменять слова и строить предложения, в недостаточном понимании грамматических форм.

Дети с ЗПР, оканчивающие начальную школу, часто испытывают затруднения в опознании грамматических категорий, выделении в них лексико-грамматических разрядов; для них характерна стереотипность при анализе языкового материала.

Своеобразием в овладении грамматическими закономерностями языка отличаются и учащиеся с ОНР. Исследования Р.Е. Левиной, Н.А. Никашиной, Л.Ф. Спириной свидетельствуют о многообра-

зии в проявлении аграмматизмов в активной речи этих детей на разных этапах их развития. И хотя к концу обучения в начальной школе наблюдается повышение объема простых предложений, продуцируемых детьми, число грамматических ошибок не уменьшается. Л.Ф. Спинова отмечает, что наибольшие затруднения у учащихся 3–4 классов вызывает согласование прилагательных с существительными в падеже, много ошибок в управлении при использовании предложно-падежных конструкций, хотя к 4 классу их становится несколько меньше.

«Для высказывания учащихся специальных коррекционных школ/классов характерны нарушения связей в речевой цели, синтаксические отклонения на уровне словосочетания, предложения или текста. Значительное место среди указанных недочетов занимают ошибки в согласовании и управлении, нарушение структуры предложения» [1: 53].

Учащиеся, имеющие те или иные отклонения в развитии, даже переходя в среднее звено школы, сохраняют в самостоятельной речи лексические и грамматические ошибки, которые свидетельствуют прежде всего о том, что школьники не владеют в нужной степени системными отношениями, теми лексическими и грамматическими обобщениями, которые лежат в основе нормальной речевой деятельности.

Это создает трудности не только в сфере общения, но и в познавательной деятельности, в обучении, связанном с овладением содержания учебной программы. Трудности в сфере общения в большей мере характеризуют учащихся с нарушениями слуха, а трудности в овладении школьной программой по русскому языку испытывают все категории детей с отклонениями в развитии. Причем дети с ЗПР в этом плане зачастую оказываются в наименее благоприятных условиях массовой школы, в частности, они вынуждены пользоваться теми же учебниками, что и их нормально развивающиеся сверстники.

Как отмечает А.Г. Зикеев [1], учебники общеобразовательной школы по русскому языку ориентированы преимущественно на выполнение языковых упражнений, предполагающих анализ заданного материала, чаще всего представленного в виде изолированных слов или словосочетаний.

Значительное преобладание в учебниках общеобразовательной школы аналитических упражнений над синтетическими вполне оправдано, так как у нормально развивающихся детей к 5 классу практически сформированы речевые навыки и умения и они достаточно автоматизированы.

В таких (аналитических) упражнениях ставятся цели по выявлению тех или иных грамматических признаков, изменению слово-

форм, образованию, видоизменению или конструированию языкового материала по тем или иным морфологическим правилам. Но для решения задач уточнения или формирования речевых навыков или умений важны задания, связанные с передачей определенных смысловых отношений, оформлением их в словосочетаниях и предложениях, с последующим использованием в более широком контексте (т. е. задания речевые, синтетические или творческие) [1].

Многие дефектологи, занимающиеся различными аномалиями, подчеркивают необходимость проведения такой работы по развитию речи на уроках русского языка, которая состоит в первую очередь в уточнении, упорядочении и расширении запаса морфологических моделей в их синтаксических связях.

Особенности грамматического строя детей с ЗПР предполагают проведение систематической работы по практическому изучению словосочетания как необходимой части коррекционно-развивающего обучения русскому языку. Ясно также, что строя это обучение, учитель-дефектолог использует методический опыт, накопленный общеобразовательной начальной школой. Поэтому рассмотрим основные позиции методистов начальной массовой школы по вопросам изучения одной из основных синтаксических единиц – словосочетания (сравнительно с предложением).

Известно, что со многими понятиями курса русского языка учащиеся знакомятся постепенно, на разных этапах обучения. На каждой новой ступени понятие раскрывается полнее и глубже, чем на предыдущей. При этом важным условием успешного продвижения учащихся в знаниях является непротиворечивое толкование одних и тех же явлений языка в разных звеньях школьного курса, преемственность в путях и приемах работы над соответствующим понятием. Это требует от учителя перспективного осмысления того материала, с которым младшие школьники знакомятся лишь пропедевтически [2].

В учебниках для начальных классов определения предложения в строгом смысле нет. Например: «Предложение выражает законченную мысль». Заметим, что данная формулировка делает неправомерным вопрос: «Что называется предложением?». Лучше спрашивать так: «Для чего служит предложение?», «Что вы знаете о предложении?», «Какие признаки предложения мы изучили?». Эти вопросы соотносятся с сообщениями о некоторых признаках предложения, содержащимися в учебниках: «Предложение выражает законченную мысль»; «При помощи предложений мы выражаем мысли и чувства, обращаемся друг к другу с вопросами, просьбами, советами, приказаниями»; «Все слова в предложении связаны грамматически. Главные члены предложения составляют его основу. Для предложения характерна интонация конца предложения».

Как видим, сведения о предложениях, сообщаемые четвероклассникам, характеризуют эту единицу языка полнее, многостороннее: дети больше узнают о назначении предложения, учатся рассматривать в совокупности важнейшие признаки предложения. Эти признаки не являются совершенно новыми для четвероклассников. Практически именно на них опирается учитель начальных классов, организуя работу над предложением.

Сравним:

Задания к упражнениям в начальных классах	Выводы об основных признаках предложения
Прочитайте. Показывайте голосом конец предложения	Для предложения характерна интонация конца предложения
Скажите, о ком или о чем говорится в каждом предложении? Какие ряды слов вы считаете предложениями и почему? Какие ряды слов нельзя считать предложениями и почему? Как их изменить, чтобы они стали предложениями	Главные члены предложения составляют его основу
Спишите предложение. Выпишите из него сначала подлежащее и сказуемое (главные члены предложения)	
Составьте предложения из данных слов. Изменяйте их, как надо	
Покажите связь слов в предложении	Все слова в предложении связаны грамматически

Данное сопоставление показывает, что работа над предложением в начальных классах определяется его основными признаками.

В перечне синтаксических понятий, которыми должны овладеть учащиеся начальных классов, программой не предусмотрено понятие о словосочетании. Тем не менее характер практической работы над словосочетанием в начальных классах (а она непременно ведется) и использование при этом лингвистических и методических терминов при разном их понимании может по-разному отразиться на процессе усвоения синтаксических понятий в старших классах: ведь в курсе синтаксиса предметом будет и предложение, и словосочетание [2].

В силу многолетней традиции, в учебно-методической литературе и школьной практике словосочетаниями называют, как правило, любое сочетание слов, будь то объединение подлежащего и сказуемого, составного глагольного / составного именного сказуемого, или сложная форма сравнительной степени прилагательного, или однородных членов предложения и т. д. В таком широком значении термин «словосочетание» применяется часто и в младших классах.

Дети привыкают к тому, что словосочетание – это любое сочетание слов. Отсюда – трудности исправления ложного представления в старших классах. Поэтому лучше использовать такие варианты, как сочетание слов, объединение слов, соединение слов, пара слов (и только в совершенно «прозрачных» случаях – словосочетание).

Мысль о том, что термин «словосочетание» не следует использовать в расширительном, то есть нетерминологическом значении, не предполагает ограничение практической работы над словосочетаниями в начальных классах. Напротив, правильное понимание словосочетаний как языковой единицы открывает широкие возможности для совершенствования методики обучения языку.

Начальная общеобразовательная школа уделяет большое внимание выработке у детей умения устанавливать смысловую и грамматическую связь между словами. Работа эта обычно проводится в контексте предложения.

Типичное задание учебника, как правило, заключается в том, что из данного предложения нужно выделить связанные по смыслу «пары слов»; или из данных слов составить предложение; или в данное предложение ввести распространяющие слова. Работа по синтаксическому конструированию проводится, таким образом, только с двумя единицами – словом и предложением.

Словосочетание же становится предметом в основном аналитической работы: оно выделяется из предложения. При этом дети нередко допускают ошибки в установлении главного и зависимого слова (в определении направления зависимости). Например: «Девочка читает интересную книгу», выделяют такие сочетания: «книгу (что делает?) читает»; «интересную (что?) книгу». Нет необходимости доказывать, что неумение найти главное и зависимое слово в словосочетании – серьезная помеха для понимания многих вопросов курса русского языка (из лексики, морфологии, синтаксиса, орфографии и пунктуации). Необходимо целенаправленно вести практическую работу над построением словосочетаний.

Предлагая работать со словосочетаниями, используя разные части речи, можно обеспечить практическое усвоение учащимися их основных структурных типов, характерных для русского языка, например, «оконная рама» (прилагательное + существительное), «рама окна» (существительное + существительное), «вставить раму» (глагол + существительное).

Исходя из задач обогащения словарного запаса учащихся, усвоения ими норм грамматической связи и лексической сочетаемости слов, можно организовать работу над конструированием словосочетаний не только определенной структуры, но и определенного лексического состава. При этом осуществляется развитие логического

мышления учащихся, усвоение многообразных отношений, выражаемых словосочетаниями разного синтаксического значения.

Сравним задания:

1. Распространить предложение, подобрав второстепенный член к подлежащему (или сказуемому, или к другому члену предложения);
2. Распространить слово так, чтобы назвать предмет и его признак: размер или цвет и т. д. (маленький цветок, голубой цветок), назвать действие и обстоятельство (место, время и т. д.), при котором оно совершается (работать в классе, работать утром и т. д.).

Разумеется, упражнения в построении словосочетаний не являются самоцелью. Непременным продолжением этой работы должно быть включение полученных словосочетаний в предложение. При этом будет восстановлено недостающее звено в цепи тех единиц, которыми мы пользуемся, создавая предложение: естественный процесс построения предложений заключается не в нанизывании отдельных слов; строя предложение в естественных условиях речи, мы пользуемся не только отдельными словами, но и их сочетаниями различного характера, в том числе и словосочетаниями [2].

Необходимо более полно и последовательно отразить в системе упражнений, представленных в учебниках по русскому языку, процесс подготовки строительного материала для предложений – не только подбора слов, но и конструирования словосочетаний в соответствии с определенным коммуникативным заданием.

Недостаточный объем слухоречевой памяти у учащихся с ЗПР приводит к неспособности одновременного установления нескольких типов смысловых отношений. В результате, дети используют словосочетательные структуры, которые лишь впоследствии трансформируются в предложенческие. Этот фактор необходимо использовать в методике развития речи учащихся с ЗПР. Только при усвоении словосочетания у учащихся с ЗПР происходит развитие языковой функции.

#### **Список литературы**

1. Зикеев, А.Г. Основные коррекционные направления работы по развитию речи учащихся второй ступени обучения, имеющих ограниченные речевые возможности // ДФ. – 1998. – № 5. – С. 53–57.
2. Купалова, А.Ю. О преемственности в изучении синтаксических понятий // НШ. – 1972. – № 5. – С. 39–43.
3. Мальцева, Е.В. Особенности нарушения речи у детей с ЗПР // ДФ. – 1990. – № 6.
4. Рахмакова, Г.Н. Особенности построения предложений в речи младших школьников с ЗПР // ДФ. – 1987. – № 6. – С. 3–9.

5. Слепович, Е.С. Некоторые особенности монологической речи старших дошкольников с ЗПР // ДФ. – 1981. – № 1. – С. 68–73.
6. Спирова, Л.Ф. Особенности речевого развития учащихся с тяжелыми нарушениями речи. – М., 1980.
7. Триггер, Р.Д. Некоторые особенности младших школьников с ЗПР в овладении грамматическим строем речи // ДФ. – 1987. – № 5. – С. 12–17.
8. Яссман, Л.В. Особенности употребления грамматических категорий детьми с ЗПР // ДФ. – 1976. – № 3. – С. 35–43.

УДК 371.12.011.3-051: 80

**Е. В. Боровкова\***

### **К вопросу о разработке речевого паспорта языковой личности учителя-словесника**

Материал статьи продолжает традицию изучения языковой личности и исследования профессиональной речи. В работе представлена современная языковая ситуация, обозначены основные тенденции речевой культуры педагога-словесника. В статье делается акцент на актуальность разработки профиля коммуникативных компетенций, так называемого речевого паспорта педагога-словесника, с опорой на основные требования культуры речи.

The study follows the tradition of researching of linguistic personality and argot. The study pays attention to the modern language and basic tendencies of language and literature teacher's speech standards. The study stresses on the urgency of communicative competence profile developing so-called identity in accordance with main requirements of speech standards.

*Ключевые слова:* языковая личность педагога-словесника, культура речи, речевой паспорт, профиль коммуникативных компетенций.

Личность в той или иной форме представляет свое общество, свой народ, нацию, свою эпоху, и поэтому нуждается в изучении самых разных сторон. Анализ понятия «языковая личность» сегодня проводится с опорой на исследование различных типов индивидуальных личностей, их разнообразных группировок и коллективного воплощения их сущности в различных фактах культуры, находящих выражение в языке. В русистике последних лет анализируются, обобщаются и систематизируются наиболее существенные концепции проблемы «язык и культура», детально изучается типология внутринациональных речевых культур, очерчивается круг принципиально важных понятий, например, таких как «языковая компетентность», «языковой вкус», «языковое чутье», проводятся тщательные

---

\* Аспирант, Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина.

исследования всевозможных граней современного языкового общества, индивидуальных и коллективных представителей его [14], разрабатываются модели языковых личностей (ЯЛ). Любая работа, посвященная исследованию языковой личности, вносит определенный вклад в современную антрополингвистику [12]. В последние годы предметом исследования становится ЯЛ педагога-словесника как проводника культуры и гаранта языкового здоровья школьника.

Предлагаемая работа ставит задачей разработку речевого паспорта ЯЛ современного педагога-словесника, своеобразного коммуникативного профиля, инструмента для оценки уровня развития ЯЛ и ее реконструкции.

Современную эпоху характеризуют как эпоху *homo loquens*, так как во всех областях освоения и познания действительности возрастает роль языка – универсального средства овладения миром. Язык, являясь средством накопления, хранения, переработки и передачи информации, становится двигателем прогресса человечества. Возрастание роли личностного фактора в обществе формирует особый социально-психологический стереотип – доверие к слову. В этих условиях владение языком рассматривается как важнейший компонент личности, особенно если она занимает или претендует на какой-либо пост, положение в обществе, место в социальной иерархии [4]. Актуальными и значимыми в этом смысле становятся понятия социальной роли, социального статуса (СС) языковой личности.

В лингвистике под социальным статусом понимают соотносительное положение человека в социальной системе, включающее права, обязанности и вытекающие отсюда взаимные ожидания поведения. Будучи существенным моментом организации общества, СС так или иначе закреплён в семантике многих слов, в их словообразовательной структуре, в интонационном рисунке, в самом голосе [17: 50].

В современном обществе СС прежде всего связан с профессией и во многом определяется уровнем образования. Социальный статус языковой личности учитывается и проявляется в организации общения: в манере начать, вести и завершать разговор, в способах перебивать партнера, отклонять или принимать предложение, в манере строить фатическую коммуникацию. Выбор слов, произношение, грамматическая правильность, речевые стратегии и тактики свидетельствуют с большой долей вероятности об образовательном уровне, роде занятий говорящего, его возрасте, происхождении, поле, то есть являются «речевым паспортом» ЯЛ [17: 50].

Социальный статус языковой личности получает свое проявление прежде всего в речевом поведении. Индексом СС может быть языковая компетентность: высокий уровень языковой компетентности свидетельствует и о высоком статусе ЯЛ [17: 52].

Синонимичность понятий «культура речи» и «коммуникативная компетентность» позволяет утверждать, что профессионально-коммуникативная компетентность учителя – это совокупность знаний, умений и навыков в области профессиональной культуры речи – вербальных и невербальных средств адекватного восприятия и отражения действительности в различных ситуациях педагогического общения на основе гуманистической ценности диспозиции личности [8: 129].

Речевая культура педагога сравнительно недавно стала предметом научных исследований, в то время как вопросы формирования и развития речевой культуры ученика традиционны в лингводидактике и достаточно хорошо разработаны [5: 360]. Следует отметить, что исследование профессиональной речи – одно из приоритетных направлений современной лингвометодики, перспективность которой обусловливается доминированием антропологического аспекта современной лингвистики – изучением языка в неотрывной связи с самим процессом общения, с языковой личностью (далее ЯЛ) [25].

Влияние речи учителя на речь учащихся, на рождение у них желания и умения высказываться, на культуру суждений, умение создавать свои тексты – неоспоримо. Учитель был и остается проводником культуры, в том числе речевой. Речь учителя является в ряде случаев основным средством достижения профессиональных целей – средством обучения и воспитания учащихся разных возрастов, средством личного воздействия на речь ученика [6: 51–55].

На фоне тиражирования ущербной бытовой речи [13: 19], общего масштабного снижения уровня речевой культуры, которому присущи расшатывание норм, стилистическое снижение устной и письменной речи, вульгаризация бытовой сферы общения, развитие комплекса речевой неполноценности [2: 376], исследователи в современной речевой практике педагога-словесника с тревогой отмечают:

- тенденцию к усредненности речевой культуры учителя; речевая деятельность учителя осуществляется на уровне нормы, а не искусства речи;
- тенденцию к видимости общения (в школе, как и в жизни в целом) – распадение речевой деятельности собеседников на ряд реплик, серию монологов, склонность к самовыражению вместо общения. Это касается и речевой культуры учителя, и речевой культуры учеников;
- фрагментарность речи учителя (отмечаются тенденции сокращения доли и роли слова учителя в старших классах);
- снижение цены речевого поступка или халатное отношение к речевым поступкам (на занятиях учителем демонстрируются

образцы проявления тех или иных лингвистических аспектов культуры речи и примеры нарушения их).

Чтобы учитель был «языковой личностью», он должен быть именно личностью со своим видением мира, включая традиционные ценности и открытость новому в мире, в том числе и в языке и речи, знание и принятие норм поведения и речи, имея при этом индивидуальный стиль их воплощения, свои собственные сто процентов воплощения эталонных требований к речевой культуре. Речевая культура учителя – индикатор его профессиональной компетентности в широком смысле этого слова [5: 360].

К коммуникативному поведению преподавателя-филолога, преподавателя-словесника предъявляются особые требования, поскольку, в идеале, он должен быть ЯЛ высшего уровня [19]. Чтобы отвечать требованиям высокого социального статуса, ЯЛ должна располагать целым рядом коммуникативных компетенций, представлять элитарную ЯЛ, способной воспитать другую элитарную ЯЛ.

От того, как будут учить родному языку, зависит не только качество речевого материала в СМИ, от этого зависит качество культуры нации в целом [13: 20].

Вопрос о показателях развития ЯЛ чрезвычайно сложен [3]. Учитывая состояние современной языковой ситуации и предъявление к ЯЛ педагога-словесника как к проводнику речевой культуры жестких требований (воспитание элитарной ЯЛ) целесообразно разработать речевой паспорт ЯЛ педагога-словесника. Под речевым паспортом в данном случае будем понимать профиль коммуникативных компетенций, определяющих уровень развития ЯЛ (профессиональные навыки, мотивы, установки, психические особенности и проч., используемые для достижения коммуникативных задач), с опорой на основные требования культуры речи.

Культура речи содержит три составляющих компонента: нормативный, коммуникативный и этический. В связи с этим обозначим нормативные, коммуникативные и этические компетенции, базирующиеся на владении речевыми средствами и средствами невербальной коммуникации. Эти компоненты будут составлять основу речевого паспорта педагога-словесника. Обратимся к рассмотрению выделенных компетенций, иллюстрируя их примерами из художественной литературы, в которых описаны коммуникативные качества речи педагога-словесника, вербальные и невербальные проявления речевого поведения:

**1. Нормативные компетенции** (правильность, языковая норма) – соблюдение норм литературного языка, которые воспринимаются его носителями (говорящими и слушающими) в качестве «идеала», образца. Требование нормативности должно соблюдаться на всех уровнях владения языком: на произносительном уровне языка – в

области фонетики, орфоэпии, на лексическом уровне (в выборе слов), на морфемном и словообразовательном уровне, в морфологии, в словоизменении, в синтаксисе.

Несомненным составляющим звеном нормативной компетенции является языковое чутье – автоматизм в языковой норме всех уровней (от фонетики до стилистики). К перечню нормативных компетенций относятся также соблюдение орфографической и пунктуационной норм, опирающееся на систему правил, на запоминание и языковое чутье [16]. Приведем фрагмент из рассказа Т.Н. Толстой, демонстрирующий установку филолога на соблюдение правил речевого поведения: «<...> *Говорили здесь особым научным языком, который Марине никак не давался. Нельзя было сказать: "Ой, я в статье страницы перепутала", – надо: "Допустила погрешности в пагинации"»* [21].

**2. Собственно коммуникативные компетенции** (речевое мастерство [16]) – выбор необходимых языковых средств для решения коммуникативных задач.

К коммуникативным качествам речи, которые оказывают наилучшее воздействие на адресата с учетом конкретной ситуации и в соответствии с поставленными целями и задачами, относятся точность, понятность, богатство, чистота речи, выразительность, креативность, рефлексия, безопасность, содержательность, коммуникативная целесообразность.

- Точность – умение четко и ясно выражать свои мысли, знание предмета разговора и законов русского языка. Литературный герой А.П. Чехова в полной мере осознает значимость данного коммуникативного показателя и применяет в своей речевой практике: «<...> *Далее я стараюсь, чтобы речь моя была литературна, определения кратки и точны, фраза возможно проста и красива»* [23].
- Понятность – доходчивость, доступность речи адресату. Проследим реализацию обозначенного коммуникативного качества речи педагога-словесника на литературных примерах: «*Чтобы читать хорошо, то есть нескучно и с пользой для слушателей, нужно, кроме таланта, иметь еще и сноровку и опыт, нужно обладать самым ясным представлением о своих силах, о тех, кому читаешь, и о том, что составляет предмет твоей речи»* [23]; «*На его лекциях не было свободных мест... Это подстегивало, заставляло его изобретать еще более доходчивые объяснения»* [18]; «*Этот бытийный контекст, к сожалению, не артикулируется в нашем социуме»*. *Про что это? – Журналист имеет в виду, что народ не хочет обсуждать эту проблему»* [21]; «*Грамотеи! Долина через "А" написали! – продолжила возму-*

*щаться сестра. – Нам ведь Наталья Рюриковна в школе говорила, что слово долина образовано от слова дол! – Да! – подхватила я, вспомнив объяснения нашей учительницы после того, как Коля Барашков, которого вызвали к доске, неправильно написал это слово» [18].*

- Богатство (разнообразие [6: 51–55], выбор языковых средств [16: 116–126]) – заключается в богатстве словаря. Преподавателю-словеснику необходимо иметь как можно больший запас слов и постоянно заботиться о его пополнении. Так, например, синонимия считается богатейшим источником пополнения индивидуального словарного запаса.
- Чистота речи – отсутствие в ней лишних слов, слов-«сорняков», слов-паразитов.
- Выразительность – использование специальных художественных приемов, изобразительных и выразительных средств для того, чтобы сделать речь образной, эмоциональной: тропы (сравнение, метафора, метонимия, гипербола), фигуры (антитеза, инверсия, повтор), пословицы, поговорки, фразеологические выражения, крылатые слова.

Ставя цель растолковать учебный материал, заинтересовать им, добиться его усвоения, учитель использует приемы популяризации: сравнение, олицетворение, метафору, аналогию, повтор и др. Использование олицетворений – один из самых распространенных речевых приемов популяризации. Когда олицетворяются какие-то научные понятия, они становятся ближе учащимся, понятнее. Усвоение идет не только логическим путем, но и эмоционально-образным. Например: *«Глагол – это мостик, ведущий нас к прямой речи; В вашей речи часто встречаются слова, которые мы называем словами-паразитами. Они живут в нашей речи и паразитируют» [22].*

Интересны подбираемые учителями объекты для сравнений и аналогий. То, с чем пытаются сравнить или провести аналогию учителя, часто отражает их вкусы, в том числе речевые. Например: *«У спектакля есть автор, у фильма есть автор. У скульптуры, у картины есть автор. Автор есть и у всех слов. Вы произносите какую-то речь – значит, вы автор этой речи. Можете себя гордо назвать автором» [22].*

- Креативность – склонность к написанию стихов, дневников, прозы, мемуаров [5: 360]. Занимает особое место среди необходимых коммуникативных компетенций учителя-словесника. Креативное познание организма родного языка как системы можно считать лингвистическим фактором становления ЯЛ [20: 7–8]. Докажем это на примере: *«Читал он теперь мало, боялся разочарований, убежденный, что хоро-*

*шая книга та, которую вовремя поставил на полку, зато ночами много писал» [18].*

- Рефлексия (рефлексивность) – один из основных компонентов речевой культуры педагога, наряду с культурой говорения, слушания, чтения и письма. Умение слышать не только другого, но и себя, корректировка не только чужой речи, направленная в основном на ошибки в ней, но и своей [5: 361]. Обратимся к примеру, демонстрирующему рефлексивность педагога-словесника, анализ собственных речевых поступков: *«В самом деле, неловко. Я – учитель словесности. А до сих пор не читал Лессинга. Надо будет прочесть» [23]. «Когда задавал детям домашнее задание, такого наговорил: – Есть такой автор Белкин... Дома надо читать его повести...*

*Тут я слышу с первой парты:*

*– Так «Повести Белкина» Пушкин написал! Это название повести Белкина.*

*Да, я ошибся с позором» [18].*

- Безопасность (кредитность) – степень доверия к ней партнеров по общению, определяющаяся эмпатией, умением найти и установить нужный тон с любым собеседником или просто слушателем, профессиональной компетентностью [6: 51–55]. Рассмотрим на примере: *«Катя старалась отвечать вздумчиво, с литературными примерами. Помнила, что мальчики легко ранимы и ждут совета умного друга» [21].* Приведенная художественная иллюстрация позволяет делать вывод о чувстве ответственности словесника за речевые поступки: прежде, чем ответить, педагог прогнозирует результат речевого воздействия, апеллирует к знаниям возрастной психологии, только затем дает ответ.

Дидактическая, познавательная, воспитательная и другие функции речевой деятельности учителя должны вступать в единство с фатической, контактоустанавливающей, рождая одновременно комфортную языковую среду и ответственность учителя за любой свой речевой поступок. Проблема безопасной речевой деятельности учителя стоит достаточно остро в школе, несоблюдение учителем безопасной речевой деятельности есть одно из проявлений профессиональной деформации [5: 362].

- Содержательность [16: 116–126]. Содержательный компонент речи должен оцениваться по результату высказывания: обогащает ли слушателей речь говорящего. Обогащает духовно, новыми идеями или новыми знаниями или ободряет слушателя, воодушевляет, призывает к совершению действия. Важен отбор материала. Своим содержанием речь связывается с

жизнью общества, личности. В качестве примера можно привести следующий художественный фрагмент: *Ибрагимов выбирал лучшие места из Карамзина, Дмитриева, Ломоносова, Хераскова, заставлял читать вслух и объясняя их литературное достоинство* [1].

- Коммуникативная целесообразность. Это прагматическое требование направлено на достижение цели общения – полного, адекватного понимания речи адресатом [16: 116–126].

**3. Этические компетенции (речевой этикет)** – знание и применение разработанных правил языкового поведения, системы речевых формул общения в конкретных ситуациях: речевые формулы приветствия, просьбы, благодарности; обращения на «ты», «вы»; выбор полного или сокращенного имени; формулы обращения. Влияние экстралингвистических факторов на использование речевого этикета: возраст участников речевого акта, их социальный статус, характер отношений между ними, время и место речевого взаимодействия [7: 96].

Так как учитель и ученики – коммуникаторы, известные друг другу, у учителя есть свобода выбора таких обращений, которые наиболее соответствуют ситуации общения, возрасту адресата и точнее выражают отношение к адресату – ученику (в речи учителя обращение может быть формальным (*ребята*), или личностно-окрашенным, дружеским (*гуси-лебеди, солнышки*). Проследим на литературных примерах: *Граждане дети*, – сказал я [18]; полное, либо сокращенное имя, обращения по имени и фамилии: «*И Раиса Ивановна сказала: Эх вы, горе-писаки, один Миша Слонов написал что-то приличное*» [9] или только по фамилии: «*Петухов! Ты можешь сидеть спокойно?*» [18], обращение на «вы»: «*Товарищи, почему Вы не перевели текст?; Товарищ Петченко, почему вы пропускаете мои занятия?*» [21], обращение на «вы» подчеркивает уважительное и терпимое отношение, обращения «*мальчики, девочки, юноши, девушки*» вносит некоторую чопорность, но приучает учеников к вежливой форме общения, воспитывает чувство собственного достоинства. Разрушают этическую норму речевого поведения педагога недопустимые обращения типа «ворона» [22]: «*Слышишь, ты, с гривой. <...> Я смотрю, ты здесь больше всего рисуешься? Закрой рот и слушай, когда с тобой учитель разговаривает! Понял? Не дай Бог еще раз тебя услышу. А после урока пол вместо дежурных помоешь, ясно? Садись*» [18].

Педагогу-словеснику следует помнить, что этический компонент культуры речи накладывает строгий запрет на сквернословие в процессе общения, осуждает разговор на повышенных тонах. Следует всегда помнить, что степень владения речевым этикетом определяет уровень профессиональной пригодности человека. Владение ре-

чевым этикетом способствует приобретению авторитета, порождает доверие и уважение.

**4. Построение, композиция высказывания** [16: 116–126]. Высказыванию всегда предшествует план (он направляет последовательность содержания речи, а также обеспечивает предвосхищение в ее построении, отчасти – ее результат). Тщательное обдумывание начала своей речи, особое обращение к аудитории, последовательность частей основной части, структуру концовки, владение аудиторией (контролирование состояния аудитории, наращивание интереса, приведение живых примеров, юмор). Хорошо продуманная композиция высказывания – несомненный признак культуры речи, ее мастерства.

Мастерство композиции обеспечивается соблюдением следующих условий:

а) задачей, основной мыслью, свободным владением материала, предвидением результата восприятия;

б) знание своего адресата, аудитории; умение чувствовать реакцию аудитории и перестраивать свою речь на ходу;

в) быстрота речевых реакций;

г) умение ориентироваться на тип речи и жанр создаваемого высказывания;

д) умение свободно держаться во время речи (устной), без напряжения пользоваться паралингвистическими средствами, телодвижениями, «играть» интонациями и другими просодическими средствами. Интересный пример, демонстрирующий великолепное владение мастерством композиции высказывания, находим у А.П. Чехова: <...> *Передо мной полтора лица, непохожих одно на другое, и триста глаз, глядящих мне прямо в лицо. Цель моя – победить эту многоголовую гидру. Если я каждую минуту, пока читаю, имею ясное представление о степени ее внимания и о силе разума, то она в моей власти. Другой мой противник сидит во мне самом. Это – бесконечное разнообразие форм, явлений и законов и множество ими обусловленных своих и чужих мыслей. Каждую минуту я должен иметь ловкость выхватывать из этого громадного материала самое важное и нужное и так же быстро, как течет моя речь, облекать свою мысль в такую форму, которая была бы доступна разумению гидры и возбуждала бы ее внимание, причем надо зорко следить, чтобы мысли передавались не по мере их накопления, а в известном порядке, необходимом для правильной компоновки картины, какую я хочу нарисовать. <...> Каждую минуту я должен осаживать себя и помнить, что в моем распоряжении имеется только час и сорок минут.<...> В одно и то же время приходится изображать из себя и ученого, и*

*педагога, и оратора, и плохо дело, если оратор победит в вас педагога и ученого и наоборот.*

*Читаешь четверть, полчаса и вот замечаешь, что студенты начинают поглядывать на потолок, на Петра Игнатьевича, один ползет за платком, другой сядет поудобнее, третий улыбнется своим мыслям... Это значит, что внимание утомлено. Нужно принять меры. Пользуясь первым удобным случаем, я говорю каламбур. Все полтора лица широко улыбаются, глаза весело блестят, слышится ненадолго гул моря... Я тоже смеюсь. Внимание освежилось, я могу продолжать» [23].*

**5. Умение использовать невербальные средства общения** для достижения коммуникативных задач – важнейшая коммуникативная составляющая речевого паспорта ЯЛ педагога-словесника.

Современному учителю нужны знания о речи, ее разновидностях, речевой деятельности, о языке внешнего вида (о невербальных средствах общения), о педагогическом голосе и способах его совершенствования, о том, что такое педагогический диалог, каковы его особенности, чем научный диалог отличается от научно-популярного, как построить беседу с родителями и т. д. [15: 363]. Невербальные средства в речевой культуре учителя играют особую роль: интонации, часто на практике мигрирующие от ложного пафоса и приказного тона до монотонности, сила звучания голоса, не равная громкости, полетность звука, мимика, жесты, а также учет разницы в расстоянии между субъектом речи и адресатами, необходимость зрительного контакта – все входит в невербальные средства общения и влияет на восприятие речи [6: 51–55]. К невербальным средствам общения, которыми должна располагать ЯЛ, занимающая высокий социальный статус, относят в том числе высоту голоса, кинесику (жесты и мимику), степень напряженности тела, ориентацию тела, молчание (если различать молчание для говорения и молчание вместо говорения) [17: 52].

М.Р. Львов утверждает, что механизмы мимики, жестов, позы, осанки в момент речи, живость реакций, уместная жестикуляция в нужный момент обогащает речь [16: 116–126]. Проиллюстрируем литературными примерами: *Размахивая белыми от мела руками, он на множестве примеров обучал искусственным правилам [18]; А наш-то Козлевич сегодня опять козликом скакал [18]; Тридцать лет назад Мария Яковлевна была для Марины загадкой. Маленькая, строгая, она всегда вела занятия стоя, не позволяла себе сесть на стул. Она ни разу не зевнула, не чихнула при студентах [21].*

Важным средством воздействия на учащихся является интонация. К общим интонационным характеристикам объяснительной речи педагога относятся повышенная громкость, высокий участок

диапазона, замедленный темп произнесения новых терминов [22]. Так, на примере художественного фрагмента наблюдаем за соблюдением педагогом интонации при диктовке предложения:

*«Тут в коридоре было несколько дверей, и за одной из них раздавался голос Лиды:*

*– Вороне где-то... бог... – говорила она громко и протяжно, вероятно диктуя. – Бог послал кусочек сыру... Вороне... где-то...*

*– Вороне где-то... бо-ог послал ку-усочек сыру... Написала?*

*– Кусочек сыру... Вороне где-то бог послал кусочек сыру...» [23]*

Свободное владение механизмами речи – требование культуры речи и одна из коммуникативных компетенций педагога-словесника. Свободная, безупречная артикуляция звуков, владение речевым дыханием и голосом. Свободное построение синтаксических конструкций, быстрота речевых реакций, долгота дыхания, позволяющая на одном выдохе произнести фразу до 30 слов, гибкая система интонаций – смысловых и эмоциональных. Без разноцветных интонаций, по замечанию М.Р. Львова, речь подобна черно-белому фотоснимку, музыке без обертонов [16: 116–126].

Впечатляющее наблюдение приводит В.Карасик: именно интонационные особенности речи являются исходным моментом в определении СС. Слушатели безошибочно выносят суждение о социальном статусе «голоса на пленке» через 10–15 сек. Прослушивания [11]. У А.П. Чехова встречаем следующее наблюдение над особенностью речевого поведения педагога-словесника: *«Это была живая, искренняя, убежденная девушка, и слушать ее было интересно, хотя говорила она много и громко – быть может, оттого, что привыкла говорить в школе» [23].*

Все чаще лингвистами выдвигается задача формирования элитарной ЯЛ – такой языковой личности, у которой сформированы не только языковые компетенции в рамках элитарной языковой культуры. Имеется в виду свободное владение литературным языком, целесообразное использование каждого из функциональных стилей, речевых жанров и свойств в устной и письменной форме речи [24]. Очевидно, предложенный список коммуникативных компетенций, которые составляют речевой паспорт педагога-словесника, следует продолжить.

Если определить, какими коммуникативными компетенциями должен обладать педагог-словесник, можно получить профиль его эталонной ЯЛ (или речевой паспорт – гарант высокоразвитой ЯЛ). Профиль компетенций можно использовать в качестве базового критерия оценки уровня развития ЯЛ, а также для выявления так называемых «зон дефицита» и их своевременного развития. Только тогда можно утверждать, что ЯЛ педагога-словесника занимает высо-

кий СС в современной школе, в современном обществе, когда она будет соответствовать высокому уровню языковой компетентности.

### Список литературы

1. Аксаков, С.Т. Детские годы Багрова-внука. Воспоминания. – Л., 1984.
2. Анисимова, А.Н. К вопросу о создании культурологического словаря народных промыслов в контексте подготовки будущего учителя-словесника // Лингвистические и методические аспекты системных отношений единиц языка и речи: материалы X юбилейной междунар. науч. конф. «Пушкинские чтения» (6 июня 2005 г.) / сост. и отв. ред. Н. Е. Синичкина. – СПб., 2005. – С. 376–378.
3. Антропологический подход как методологический принцип формирования языковой личности школьника в процессе обучения русскому языку // [http://bank.orenipk.ru/Text/t37\\_451.htm](http://bank.orenipk.ru/Text/t37_451.htm).
4. Бекасова, Е.Н. Языковая личность. Штрихи к портрету // [http://bank.orenipk.ru/Text/t48\\_14.htm](http://bank.orenipk.ru/Text/t48_14.htm).
5. Браже, Т. Г. Рефлексивность и креативность речевой культуры учителя // Лингвистические и методические аспекты системных отношений единиц языка и речи: материалы X юбилейной междунар. науч. конф. «Пушкинские чтения» (6 июня 2005 г.) / сост. и отв. ред. Н.Е. Синичкина. – СПб., 2005. – С. 360–362.
6. Браже, Т. Г. Речевая культура учителя как научно-практическая проблема // Материалы X Конгресса Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы. Санкт-Петербург, 30 июня – 5 июля 2003 г. Пленарные заседания: сб. докл.: в 2 т. / под ред. Е.Е. Юркова, Н.О. Рогожиной. – СПб., 2003. – Т. II. – С. 51–55.
7. Введенская, Л. А. Русский язык и культура речи / Л.А. Введенская, Л.Г. Павлова, Е.Ю. Кашаева. – Ростов н/Д., 2005.
8. Григорьева-Голубева, В. А. Гуманистические ценности в образовании и развитие языковой личности педагога. – СПб., 2001.
9. Драгунский, В.Ю. Фантомас. – М., 1969.
10. Карасик, В. И. Характеристика педагогического дискурса // Языковая личность: аспекты лингвистики и лингводидактики: сб. науч. тр. – Волгоград, 1999. – С. 3.
11. Карасик, В. И. Язык социального статуса. – М., 1992.
12. Картер, Е. В. Проблема типов речевой культуры (коммуникативно-прагматический аспект // XI Пушкинские чтения: Русистика. Методика. Лингводидактика: материалы междунар. науч. конф. 6 июня 2006 г. / сост. и отв. ред. Н.Е. Синичкина. – СПб., 2006. – Т. 2. – С. 85–88.
13. Коньков, В. И. О некоторых особенностях речевой практики современных СМИ // Мир русского слова. – 2006. - №3. – С. 18–21.
14. Кочеткова, Т. В. Языковая личность носителя элитарной речевой культуры: автореф. ... д-ра филол. наук. – Саратов, 1999.
15. Курашева, С. В. Формирование коммуникативной компетентности будущего учителя при изучении курса «Русский язык и культура речи» // Лингвистические и методические аспекты системных отношений единиц языка и речи: Материалы X юбилейной междунар. науч. конф. «Пушкинские чтения» (6 июня 2005 г.) / сост. и отв. ред. Н.Е. Синичкина. – СПб., 2005. – С. 363–367.
16. Львов, М. Р. Культура речи // Основы теории речи. – М., 2000. – С. 116–

126.

17. Першина, Л.Р. Языковая личность на лингвистическом фоне. – Уфа: Вост. ун-т. 1998. – № 7: Филология. – С. 47–52.
18. ПРОЗА.РУ [электронный ресурс]:  
<http://www.proza.ru/texts/2003/12/23-67.html>,  
<http://www.proza.ru/texts/2003/03/16-111.html>,  
<http://www.proza.ru/texts/2005/10/25-119.html>.
19. Синичкина, Н. Е. Безопасная языковая личность преподавателя-филолога: недостижимый идеал? // Мир русского слова. – 2006. – №1.
20. Синичкина, Н. Е., Зинкевич, Е.Р. Практическая методика русского языка. – СПб., 2005.
21. Толстая, Н.Н., Толстая, Т.Н. Двое: разное. – М., 2001.
22. Филиппова, О. Индивидуальный стиль речи учителя-словесника // <http://rus.1september.ru/article.php?ID=200002701>.
23. Чехов, А.П. Избранные сочинения. – М., 1988. – С. 279-298.
24. Шахнюк, А. З. Элитарная языковая личность: штрихи к портрету // [http://www.rusnauka.com/ESPR\\_2006/Philologia/10\\_shahnjuk%20a.z.doc.htm](http://www.rusnauka.com/ESPR_2006/Philologia/10_shahnjuk%20a.z.doc.htm).
25. Языковая ментальность личности // <http://www.rl-online.ru/articles/3-04/456.html>.

## Реализация компенсаторности в языке рекламы

В настоящей статье рассматриваются вопросы, связанные с формированием компенсации, восполнения утраченного или недостающего в окружающей потенциального потребителя реальности посредством использования рекламируемого объекта. Образ товара, продуцируемый рекламой, создаёт иллюзию возможности ухода от константной реальности в мир виртуальный. При этом воздействие современной рекламы на восприятие окружающей реальности осуществляется посредством формирования специфических положительных инвариантов картины мира в сознании адресата.

Given clause is devoted to a question of connected to formation of indemnification, compensatority lost or missing in environmental the potential consumer of a reality by means of use of promoted object are considered. The image of the goods produced by advertising, creates illusion of an opportunity of a leaving from a constant reality in the world virtual. Thus the influence of modern advertising on perception of an environmental reality is carried out by means of formation specific, positive invariants of a picture of the world in consciousness of the addressee.

*Ключевые слова:* язык рекламы, семантика, компенсаторность, виртуальность, коммуникация.

Язык современной рекламы представляет собой особую область, где вербальный план сообщения позволяет сознанию человека сформировать тот или иной образ, имеющий в своей основе константную реальность. В процессе формирования образа объект рекламы приобретает виртуальные семантические наращения – возможные, ассоциативные семы, семы, программируемые посредством языка рекламы в сознании адресата.

В ходе анализа особенностей языка рекламы, можно выявить группу рекламных текстов, семантическим центром которых является указание на восполнение утраченного или недостающего в окружающей потенциального потребителя реальности. Например, реклама сигарет: *«Время окутано лёгкой дымкой непредсказуемости. Каждая минута может стать особенной... Virginia Slims»*, предлагает адресату самостоятельно домыслить, какие же положительные последствия употребления сигарет его ожидают. Вербальный ряд в данном случае включает слова с положительной семантикой: *«лёгкий, особенный»*. Даже слово *«непредсказуемость»* – то, что невозможно предсказать, предугадать, предвидеть, может приобретать в сознании адресата положительные семантические нара-

---

\* Кандидат филологических наук, доцент, Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина.

щения. В данном случае сигареты позиционируются как способ изменить жизнь к лучшему, сделать её особенной, наполненной неизведанными приключениями.

Данный вид семантических наращений может не иметь никакой связи с константной реальностью, они формируются автономно сознанием человека, это то, в существование чего хочется верить. Создателями рекламных сообщений эксплуатируется способность человека к восприятию информации, с последующей самостоятельной, конкретизацией. Вот почему, например, в рекламе сигарет доминантой сообщения является удовольствие, получаемое курильщиком, при этом наличие фразы «*Минздрав предупреждает: курение вредит вашему здоровью*» не функционально. Данная фраза исключается из восприятия адресатом рекламы как негативное сообщение, неприятное, мешающее получать удовольствие, а поэтому – малозначимое, хотя и имеющее в своей основе действие потребности в самосохранении, но потребность в удовольствии, в сознании конкретного человека, может оказаться гораздо выше потребности в самосохранении.

Показательным для современной рекламы является слоган косметической продукции фирмы «*L'Oreal*»: «*Я этого достойна*», поскольку представляет собой яркий пример эксплуатации особенностей восприятия рекламного сообщения адресатом. Смещение акцента в сторону «*это – достойно меня*» – не срабатывает в силу закомплексованности личности потребителя. Редкий человек оценивает себя высоко, ещё реже – объективно и реклама позволяет сначала сформировать у потребителя комплексы по поводу внешности, способностей умений и т. д., а потом предложить способ избавления от всех проблем – рекламируемый объект.

Поскольку массовый потребитель не обладает способностью ценить себя достаточно высоко, то реклама позволяет (иногда ненавязчиво, иногда агрессивно) создать устойчивую иллюзию. Например, в рекламе шампуня «*Sunsilk*» вербальный ряд («*Теперь меня можно не узнавать*») подкрепляется визуальным. Женщина, которая в рекламном ролике использует шампунь «*Sunsilk*» обладает красивыми блестящими волосами она красива тот, кто использует шампунь «*Sunsilk*» красив чтобы быть красивым, нужно покупать шампунь «*Sunsilk*». Так красота волос от «*Sunsilk*» становится обещанием улучшения внешности. При этом нельзя сказать, что потребительницы данного косметического продукта обязательно будут разочарованы. Ведь процесс рекламной аберрации – построения виртуального варианта объекта рекламы, в ходе которого происходит намеренное преувеличение положительных характеристик, позволяет сформировать положительную доминанту в сознании адресата, которая и будет определять восприятие.

Именно поэтому рекламные сообщения так часто подчёркивают значимость виртуальных характеристик объекта рекламы, свойств, которые формируются и существуют лишь в сознании потребителя. Реклама «конструирует ценностные представления о престижных, желательных стилях жизни и моделях поведения, необходимым атрибутом которых выступают идеи вещей, маркирующие жизненное, социальное, рекламное пространство. Подлинное бытие личности под влиянием рекламы заменяется иллюзорным, виртуальным» [4: 10]. Реклама предлагает образы, символическое значение которых отсылает адресата к ритуалам повседневности, по сути своей они являются частью контекста, в рамках которого происходит определение и самоидентификация индивида.

Современная реклама представляет собой не только «двигатель торговли», она уже перестала быть лишь средством побуждения к покупке товара. «Позиционируя индивида в бесчисленных ситуациях, возможных в условиях свободного выбора товаров, реклама снабжает нас информацией о принятых в данном обществе правилах поведения, моральных нормах, образе жизни» [3: 247]. При этом ценности, транслируемые рекламой, всегда базируются на поведенческих стереотипах, навязываемых адресату. Рекламные символы заполняются актуальным в данное время, в данном обществе содержанием, и их толкование оказывает влияние на выбор человека.

Рекламируемый предмет позволяет создать иллюзию у потребителя. Иллюзию самодостаточности за счёт приобретения товара, поскольку образ объекта рекламы подталкивает сознание потребителя к мысли о том, что товар позволяет решить не только бытовые проблемы, но и личностные. За счёт этого формируется виртуальная реальность, где потребитель и товар остаются один на один и в этой паре препозиция отдаётся товару – именно обладание товаром формирует у человека чувство уверенности в себе. Ведь структура личности современного человека организована таким образом, что вербальное одобрение поступков или достижений необходимо каждому. Одобрение себя достигается путём использования товара как знаковой системы. Товар как знаковая система обладает признаком самодостаточности, цельнооформленности (целый, не требующий дополнений, хорош сам по себе) товар обозначает социальный статус своего владельца – обладание товаром обещает новый статус. Такова реклама автомобиля «Nissan»: *«Эта машина позволит Вам чувствовать себя уверенно не только на дороге, но и на жизненном пути»*. Вам не хватает чувства уверенности в собственных достижениях? Приобретайте именно эти часы (обувь и т. п.) и они как ничто другое смогут подчеркнуть высокий уровень Вашего положения в обществе.

Реклама водки «*Smirnoff*» предлагает потребителю: «*Наслаждайся своей исключительностью*», что должно, с одной стороны, привлечь аудиторию «тех, кто не любит быть как все», любит выделяться, а с другой стороны – людей, желающих быть похожими на «тех, кто не любит быть как все».

Одним из наиболее распространенных способов подачи рекламной информации является обращение к эталонным типам. Применение данного приёма опирается на субъективную оценку значимости и авторитетности других людей. Например, «классическая» семья из рекламного ролика: мать, отец, двое детей (мальчик и девочка). Подобную семью можно увидеть во многих рекламных роликах, где рекламируются бытовые приборы, продукты питания и т. п. объекты, рассчитанные на потребление семейным микросоциумом. Так в рекламе масла «*Олейна*» члены семьи не только являются универсальными образцами для подражания, но и в некоторой степени отражают современный взгляд на социальные роли: мать занимается приготовлением ужина, муж смотрит телевизор, дети играют в комнате. Единение всех членов семьи за общим кухонным столом происходит в тот момент, когда мать ставит на стол салат, заправленный растительным маслом. В данном случае, можно наблюдать навязывание виртуальных коннотаций объекту рекламы: растительное масло – продукт питания, но в рекламе оно выступает в роли чудодейственного средства, позволяющего обрести семейное счастье и уют.

Реклама позволяет сформировать микросообщество «любителей шоколадного батончика "*Mars*"», которое противопоставляется «любителям батончика "*Snickers*"; поклонников напитка "*Coca-Cola*", противопоставляемое выбирающим "*Pepsi*"». Приобретая товар, покупатель становится не только, например, «счастливым обладателем пароварки», но и получает статус человека с определённым социальным уровнем, включается в группу «потребителей продуктов, приготовленных на пару», следящих за своим рационом и придерживающихся здорового образа жизни.

Кроме того, существует прием косвенного обращения к авторитетам, например, контекстная реклама в эпизодах художественных или мультипликационных фильмов: известный актер или герой фильма (например Джеймс Бонд) пользуется определенным мылом, пьет определённый напиток, подчеркивает в разговоре, что носит одежду конкретной фирмы или пользуется услугами такого-то банка. Адресату навязывается посыл: хочешь быть таким же, как Джеймс Бонд? Пей тот же напиток, носи ту же одежду и т. п. Внешние проявления представляются как способ изменить «содержание».

Реклама формирует объекты новой природы. Они только имеют функции, сходные с реальными объектами, но часто потребитель

информации относится к ним как к абсолютно реальным. Все это говорит о самодостаточности рекламных коммуникативных объектов, которые не только могут существовать самостоятельно, но и вступать в собственные взаимосвязи, не предусмотренные их создателями: «Можно говорить, что строительство "воздушных замков" может предшествовать, сопровождать, заменять строительство реальных замков» [5: 44]. Приобретение автомобиля новой марки, престижной в данное время, в данной социальной группе автоматически повышает статус «приобретателя». Таким образом, в рекламе статус предмета и статус обладателя этого предмета оказываются в отношениях односторонней зависимости: предмет определяет статус своего владельца, а не наоборот.

Реклама представляет собой разновидность увещательной коммуникации. В связи с этим она вынуждена обещать адресату обязательную «компенсацию» за то, что он приобрел тот или иной товар. «Каждый текст рекламного объявления должен представлять собой концентрат свойств, качеств, характеристик предмета рекламы, а также выгод и преимуществ, которые его приобретение принесет покупателю» [6: 25]. В связи с чем возникает определённый инвариант реальности. Вариант, воссозданный при помощи языковых средств и ориентированный в соответствии с задачами автора рекламного сообщения.

Язык рекламы формирует мир виртуальный: выдуманный, несуществующий мир вымыслов, образов, мифов и гиперболизированных явлений, но, вместе с тем, это и точное отражение процессов социально-экономических; это тесная взаимосвязь мира вещей и мира людей, взаимосплетение и взаимовлияние всех основных видов человеческих ценностей. Поэтому реклама полностью соответствует такой особенности мировосприятия современного человека, которая обозначается термином – «мозаичная культура» [1: 86]. Суть этой особенности состоит в том, то для обычного человека представляют ценность и сведения о новых достижениях науки, и изменения в политической жизни, и отношения с другими людьми, и новости культуры и искусства, и сведения о разных предметах «вещного» мира – мира товаров и услуг. Эти ценности у разных людей располагаются в разном порядке по степени их важности и приоритетности, реклама выполняет роль посредника между миром человеческим и миром «вещным», между потребностями человека и теми товарами, которые могут эти потребности удовлетворить. Так в языке рекламы происходит закономерная трансформация константной реальности с учётом потребностей и особенностей адресата, а так же продуцирование положительной реальности виртуальной, программируемой посредством возможностей языка рекламы.

Каждое рекламное сообщение прямо или косвенно аргументирует передаваемую информацию о товаре, заставляет человека строить цепочку внутренних доводов или контрдоводов, позволяющих ему принять решение. Это является показателем того, что потребитель включается в коммуникацию, вступает во взаимодействие с рекламным сообщением, так или иначе оказывается вовлечённым в диалог.

Если адресата удалось вовлечь в диалог с рекламой, то, для того чтобы связь обеих сторон коммуникативной системы была активной, действенной и продуктивной, необходимо соблюдение в рекламном сообщении основных законов эффективной коммуникации. Без этого диалог увенчается совсем не тем результатом, которого хотела бы достичь реклама. Блестящим примером такого вовлечения является рекламный ролик одноразовых лезвий «*BiC*»: мужчина бреется, собираясь на работу, заходит в детскую, целует спящую дочь, та, не проснувшись, говорит: «*Пока, мама!*». Отец в замешательстве трет подбородок. К этому моменту уже и зрители понимают – в чем дело, рекламируемый товар выполняет свою функцию «за кадром».

Общеизвестно, человек существует в обществе, а общество – это система, в которой происходит коммуникация, осуществляющаяся посредством различных знаковых систем. Общество базируется на экономических отношениях, которые, в свою очередь, являются одним из видов коммуникации, а реклама в этом контексте служит стимулом экономических отношений.

В языковом плане реклама представляет собой систему средств выражения информации и может быть рассмотрена также в качестве семиотической системы. Исследования в рамках общественной функции языка дают возможность принимать рекламу за одну из сфер человеческой деятельности, что позволяет рассматривать ее лингвистические особенности в рамках социально ориентированного общения в целом.

Своеобразие условий коммуникации в рекламном тексте вытекает из его прагматической направленности: рекламный текст содержит определенную информацию, назначение которой в том, чтобы воздействовать (убеждением, внушением) на психику и детерминировать поведение реципиента. Значение имеют все виды воздействия на реципиента, также учет специфики его восприятия, который опирается, с одной стороны, на известную коммуникантам картину ситуации и их общий фон знаний, и, с другой стороны, на «программирование» определенных физических действий (например, посещение магазина, банка).

Прагматический аспект рекламных текстов непосредственно связан с их своеобразной организацией (выбор грамматических и

лексических единиц, стилистических приемов, использование элементов разных знаковых систем) и имеет своим итоговым содержанием установку на конкретные действия со стороны партнеров по коммуникации.

В рекламном сообщении на первый план выходит умение сформировать рекламный образ с помощью различных лексико-синтаксических и изобразительных средств. Рекламный образ создает положительное представление о предмете и вызывает положительные эмоции, которые в нужном направлении влияют на поведение адресата.

Язык современной рекламы – это своеобразная знаковая (семиотическая) система, представляющая собой сосуществование разных типов «языков» (непосредственно текста, визуальных и текстологических рядов, социального «текста» и «контекста»), действующая в человеческом обществе, наряду с естественным языком и другими явлениями культуры, хранящая и транслирующая информацию. Это своеобразный «каталог товаров и услуг», которым пользуются в обществе для того, чтобы правильно понять и интерпретировать рекламное послание, необходимо уметь дешифровать эту «знаковую систему».

Семиотический подход к анализу рекламного сообщения позволяет выделить в них два слоя возможных значений – денотативные (первый уровень, буквальное значение знака), например, в рекламном ролике «*Домик в деревне*» молоко на столе – продукт питания, молоко; и коннотативные (второй уровень, символически и социокультурно обусловленный), им будет являться то, что предполагает сам выбор объекта – молоко, как символ здоровья, натуральности, природы.

Ассоциации, возникающие в сознании адресата рекламного сообщения, предполагают создание устойчивых связей между элементами рекламной информации, образом товара или целостным рекламным сообщением и теми представлениями, образами и потребностями, которые существуют в субъективном внутреннем опыте человека. Это один из фундаментальных методов рекламного воздействия и воздействия на сознание человека в целом.

Авторы рекламы, с одной стороны, опираются на особенности целевой аудитории, с другой – навязывают их. Язык рекламы служит своеобразным фильтром, позволяющим когнитивной системе отсекал всё лишнее из опыта для того, чтобы система не перегружалась и адекватно функционировала. Однако это приводит к тому, что сознание человека игнорирует важные части опыта и, как следствие, формируется обеднённый список альтернатив при решении проблемных ситуаций. Эту особенность эксплуатирует реклама: если болит голова – поможет «*Панадол*», хотите чтобы ваши губы были яр-

кими и манящими – помада от «Revlon», настроение на нуле – чай «Brook Bond», торт «Причуда» – когда хочется праздника. Особенность рекламы заключается в создании корреляции между чувствами, ощущениями и материальными объектами, то есть – недостижимое привязывается к достижимому. Например, чувство счастья или женская красота связываются с духами; уверенность в себе, дружеское расположение – с кофе, жевательной резинкой, и т. д.

Образ товара, продуцируемый рекламой, создаёт иллюзию возможности ухода от скучной константной реальности в мир радужный, где все люди живут «красиво»: краски – яркие, музыка – весёлая. Рекламная аудитория подвергается постоянному, систематическому воздействию, целью которого является включение адресата в инвариант реальности и навязывание определённого стиля поведения. Речевая ошибка, заключённая в рекламном слогане «Мыло для мягкой и нежной кожи» в некотором смысле стала пророческой: если у потребителя кожа не «мягкая и нежная», то ему этим мылом пользоваться не стоит.

Язык рекламы позволяет сформировать в сознании адресата виртуальный образ его самого – более красивого, удачливого, умного, способного и, в итоге, счастливого. Способом достижения всех этих благ представляется объект рекламы, который позволяет компенсировать все недостатки. К сожалению, компенсация эта происходит в большинстве случаев лишь в сознании адресата, но от этого не становится для него менее ценной, а реклама – менее действенной.

#### Список литературы

1. Краско, Т.И. Психология рекламы. – Харьков, 2002.
2. Кузнецов, С. А. Большой толковый словарь русского языка / гл. ред. С. А. Кузнецов. – СПб., 2000.
3. Максимова, О.Б. Гендерное измерение в современном социально-коммуникативном дискурсе: роль рекламы // Вестник РУДН. – Социология. – 2004. – № 6–7.
4. Орлова, Н.В. Реклама в пространстве информационного общества: автореф. дисс. ... канд. философ. наук. – Саратов, 2007.
5. Почепцов, Г.Г. Теория коммуникации. – М., 2001.
6. Фесенко, О. Реклама в книгоиздании. – Обнинск, 1996.

УДК 81-25

**Р. В. Рюмин\***

#### Разговорная лексика в социолектной лексикографии

В статье рассматриваются социолектные словари на предмет трактовки в

---

\* Кандидат филологических наук, Кубанский государственный университет.

них английских и русских коллоквиализмов (разговорных слов).

The article is dedicated to the colloquialisms and contains it's analysis in the modern slang dictionaries.

*Ключевые слова:* словарь, социолект, словарная статья, стилистическая помета

Социолектная лексикография как лингвистическая дисциплина является самостоятельным разделом языкознания со своим собственным предметом исследования, особыми методами и понятийным аппаратом, однако использует также понятия и термины нормативной лексикографии. Специфический понятийно-терминологический аппарат социолектной лексикографии связан с понятием социолекта, социолектизма и принципами его лексикографического описания.

Социолектная лексикография (социолектография) – это раздел лексикографии, занимающийся теорией и практикой создания словарей социальных диалектов. Предметом теории лексикографии является разработка методологии составления социолектных словарей, а наиболее важными задачами – разработка классификации словарей социолектов и обоснование композиции словаря, под которой понимаем единство макро- и микроструктуры словарного издания.

Опираясь на принципы лексикографического анализа, выработанные отечественной школой лексикографии [11; 3, 4; 6, 7, 8; 10], рассмотрим разговорную лексику английского и русского языков на предмет ее фиксации в одно- и двуязычных социолектных словарях.

Словарь *P. Спирса «Сленг и эвфемизм» (Richard A. Spears «Slang and euphemism»)*, изданный в США, дает материал, взятый из различных источников, охватывающий девять столетий и все основные англоговорящие страны [6]. По своей природе сленговая и разговорная лексика не может быть известна одному человеку. Это объясняется тем, что большинство знаний, в том числе и лингвистические, ограничиваются тем, какой опыт имеет каждый человек и сколько он читает. В данном словаре существует, например, более 900 слов для называния степени опьянения и, конечно, ни один человек не может знать столько слов, относящихся к одному и тому же явлению. Этот словарь, по мнению автора, является единственным удобным источником для диахронического изучения запретных слов.

Заслуживает внимания то, что в словаре собраны древние слова и выражения; следует отметить, что в викторианскую эпоху были созданы самые «сочные» сексуальные метафоры. Словарь дает также данные об англо-американской культуре и лексике. Несмотря

на то, что в скобках указываются даты и место, где употребляется данное слово или выражение, время дается приблизительно и слово необязательно должно употребляться именно в том месте, где это указано в словаре, так как не всегда известно, насколько широко оно распространилось в той или иной стране, среди того или иного народа.

Интерпретация тематического содержания слов частично взята прямо из жаргона преступников, большое количество слов взято из непристойных мужских разговоров и некоторая часть – это повседневный сленг и стандартный английский. В названии автор указывает на специфику словаря: «Словарь богохульств, проклятий (ругательств), оскорблений, сексуального сленга и метафоры, расовой хулы, разговора наркоманов, гомосексуалистов и т. п.» («A dictionary of oaths, curses, insults, sexual slang and metaphor, racial slurs, drug talk, homosexual lingo, and related matters»). Однако некоторые словарные статьи очень вежливы и эвфемистичны.

Ценность словаря в том, что к некоторым словам даются длинные списки синонимов, что, по словам автора, является следствием конфликтного отношения говорящих к данному понятию; ср., например: **ebony** 1. Негр или негритянка (*A Negro man or woman*). *Синонимы и родственные слова (Synonyms and related terms)*: ace of spades, Aframerican, afro, Afro-American, alligator bait, ape, black, blackamoor, black bean, blackbird, black diamond, black fay, blackfellow, blackhead, blackie, black ivory, blackout, bloman, blood, blue, bluegum moke, blueskin, bone-head, boo, boo-boo, boog, boogie, bootlips, boy, buck, buck nigger, buffalo, buggy, cluck (also kluck), coon, Ethiopian, eight-ball etc. (здесь приводятся не все синонимы). 2. Относящийся к негру, негритянский, темнокожий (*Pertaining to a Negro*) (both senses, colloquial, mid 1800s – 1900s).

Словарь содержит тщательно разработанную систему помет. Приведем наиболее важные для нас дефиниции.

*Центральный сленг* – тип переставления порядка элементов слова, при котором написание слова выворачивается наизнанку; e.g., «oolfoo» for «fool».

*Разговорный* – относится к словам, которые используются в ежедневном неофициальном общении, но не используются в официальном письменном английском. Некоторые слова-табу традиционно считаются разговорными. Сленгизмы и разговорные слова похожи, и слово может использоваться как сленговое в одной сфере (области) и как разговорное в другой.

*Пренебрежительно* – относится к словам-обращениям, которые унижительно оскорбительны адресату.

*Дисфемизм* – относится к слову, которое преднамеренно приобрело неприятное или запретное побочное (ассоциативное) значение

(коннотацию).

*Эвфемизм* – относительно мягкая или неопределенная фраза, заменяющая резкое или особое слово или фразу; или процесс создания замещений.

*Шутливо* – нарочито юмористично, комично; смешно.

*Насмешка (издевка, высмеивание)* в имитации особенного языка или стиля, чаще всего китайского или японского: «mock-Chinese», «mock-Latin».

*Рифмованный сленг* – слово, представленное А и Б (или только А) в образце А и Б = В, т. е. «needle and pin» означает «gin», (a = needle, b = pin, c = gin). Также называется «Рифмованный сленг кокни» («Cockney rhyming slang»).

Автор часто использует двойные пометы, относя слово к переходному слою лексики от сленгового к разговорному: **cronk** (also **krank, kronk**) 1. *Ill* (slang and colloquial, 1800s – pres.) 2. *Intoxicated with alcohol; sick with drink* (from German krank, “sick”; U.S. slang and colloquial, mid 1800s – pres).

Итак, данный словарь является не только уникальным по своему содержанию и системе разработанных помет, но и представляет собой существенный вклад в социолектную лексикографию и лексикологию английского языка.

В предисловии ко второму изданию «Словаря английских коллоквиальных идиом» (F.T. Wood, R.J. Hill «The Dictionary of English colloquial idioms» 1979) P. Хилл отмечает, что как словарь коллоквиализмов он должен быть современным [7]. Автор поясняет, какая лексика входит в словарь: «В этот словарь входит главным образом неофициальный (informal) / фамильярный (familiar) дружеский (friendly) английский». Наряду с термином «неофициальный» (informal) автор употребляет такие термины как: «colloquial», «spoken» (разговорный). «Разговорный английский используется среди равных; он подразумевает дружелюбность, очень немного различается в различных регионах Британии, и его использование придает разговору юмор и "изюминку"» (It is the spoken English used between equals; it implies friendliness, varies very little in different regions of Britain, and its use gives humour and zest to a conversation) [7: 6–186].

Словарные статьи содержат пояснения по употреблению регистрируемой языковой единицы в различных ситуациях; дается также ряд синонимов к данному слову, словосочетанию или идиоматическому выражению. Можно проследить синонимические ряды таких слов, как drunk, nervy, telephone и т. д.; например: **drunk**. Существует множество разговорных и сленговых выражений, связанных с состоянием опьянения. Вы должны быть готовы к следующим: 1. *He drunks like a fish*. Он пьет много спиртного. 2. *He is the worse of drink*.

Он пьян. 3. Эти выражения, которые не вызывают возражений, показывают увеличение степени опьянения: **be merry, tiddly, tipsy, tight, sozzled, smashed, plastered, blind drunk**. См. также «*drop too much*» и «*one over the eight*».

В данный словарь не вошли сленг, слова-табу, лексика наркоманов и американский английский (за исключением некоторых слов; например: **knock up see take a knock переживать кризис или неудачу**. \* The economy of the country has certainly taken a knock this year. \* (Экономика страны, безусловно, потерпела кризис в этом году). What with one illness after another, there's no denying that he's taken a knock just recently. (В этом году он болел раз за разом, безусловно, ему очень не повезло (у него был кризис). Неологизмы также включены в данный словарь, такие как: all systems, go, catch 22, cliff-hanger.

Приведем примеры нескольких словарных статей. **Drag** 1. (глагол) drag on / out: длиться слишком долго (*last far too long*). \* The recital dragged on (and on) – I could scarcely keep awake. (Повествование затянулось надолго – я едва удержался, чтобы не уснуть). «*Drag out*» также то же, что «*to spin out*». 2. Неисч. сущ. или прил. одежда трансвестита (*transvestite clothes*); первонач. сленг, (originally slang), такие выражения, как «*acted in drag, drag club*» сейчас обычно используются в контексте приема гостей (развлечения). 3. A drag: a bore. \* It's a real drag having to be back at six. (Это действительно занудно возвращаться в шесть). \* What a drag! (Какая тоска!). **Catch 22** неразрешимая ситуация, дилемма; какой бы выбор вы не сделали, вы все равно проиграете (*a dilemma, whereby you are the loser, whatever course you choose to take* (originally American)).

В «Новом англо-русском словаре современной разговорной лексики» С.А. Глазунова представлены как слова, так и современные идиомы и разговорные выражения британского и американского новейшего сленга и диалектов; вульгарная и нецензурная лексика также нашла в нем отражение [2: 2–281]. Словарь содержит тщательно разработанную систему помет, включающих грамматические и стилистические характеристики толкуемых единиц.

Остановимся на стилистических пометах. Автор словаря пользуется следующими индексами: «infml» (informal), «sl» (slang), «vulg» (vulgar), «taboo». Кроме того, применяются сложные пометы типа «vulg infml», «vulg sl», «taboo sl»; точное отнесение той или иной лексической единицы к определенному слою лексики автору не представляется возможным, так как не существует четких границ между неофициальной лексикой и сленгом, вульгаризмами и табу. Региональные пометы, такие, например, как «AmE» (American English) или «BrE» (British English) также не свидетельствуют об исключительном употреблении данного слова или выражения только в США или в Великобритании, ввиду широкого распространения аме-

риканской массовой культуры по всему миру и общности англосаксонской культуры.

Позиция автора относительно перевода каждой единицы сводится к тому, что сленговые и разговорные слова и выражения не могут быть точно переведены, так как их значения раскрываются в контексте, в конкретной языковой ситуации. Переводятся не слова или словосочетания, а высказывания, достаточные для правильного понимания толкуемых единиц. Составитель словаря использует различные виды межъязыковых соответствий – эквивалент, аналог, описательный перевод. Несомненным достоинством словаря является подбор русских эквивалентов слов, словосочетаний и выражений.

Приведем несколько примеров: **beefcake** *n infml* 1. There was one calendar showing beefcake rather than cheesecake. Мне попался один календарь, где были фотографии обнаженных мужчин, а не женщин. 2. She's been going out with a real beefcake. Она встречалась с одним здоровым парнем. Настоящий амбал; **girlie** *adj. infml* When on duty he would take a *girlie* magazine with him to look through. Когда он шел на дежурство, то брал с собой полистать журнал с *фотографиями полуобнаженных девиц*. He likes to watch *girlie* shows with their dancing line of long-stemmed beauties. Ему нравится смотреть представления, в которых танцуют *полуодетые* длинноногие *красавицы*. Some creepy character asked her if she would pose for a *girlie* magazine. Один противный тип спросил ее, не согласится ли она позировать для одного *порножурнала*. This movie has turned out to be nothing but a *girlie* show. Фильм превратился в парад *голых девиц*.

В «Большом англо-русском двухтомном словаре» под ред. И.Р. Гальперина хорошо представлена этико-стилистическая градация эмоциональности, отраженная в пометах: *шутливое, ироническое, пренебрежительное, презрительное, неодобрительное, эмоционально-усилительное*. Приведем несколько примеров: **nostrum** – *n.* преим. *пренебр.* 1. лекарство от всех болезней; универсальное патентованное средство; панацея; 2. *перен.* панацея, средство от всех бед; **Mick** – *n.* *презр.* ирландец; **ocular** – *n.* 1. окуляр (оптического инструмента) 2. *шутл.* глаз [1: 44–120].

«Большой словарь русской разговорной экспрессивной речи» В.В. Химики включает в себя сниженную, сугубо разговорную, преимущественно субстандартную лексику и фразеологию; его можно также рассматривать, по словам автора, как "...собрание слов и выражений сниженной экспрессивной речи, русского обиходного общения во всем его разнообразии и без всяческих прикрас" [5: 7]. В словаре отражен самый широкий диапазон сниженного и эмоционально-оценочного самовыражения русского человека: от шутливо-разговорного до насмешливо-иронического, грубого и вульгарного, весь

спектр массового народного словотворчества современного города: простонародного и интеллигентного, бюрократического и уголовного, молодежного и детского.

Всю лексику и фразеологию экспрессивной разговорной речи, описанную в «Большом словаре русской разговорной экспрессивной речи», можно представить в виде следующих групп: 1) разговорно-литературные слова и выражения с элементами снижающей экспрессии, эмоциональности и образной оценки; 2) разговорно-сниженные экспрессивы, промежуточные между языковой нормой и общерусским субстандартом; 3) элементы сниженной деловой лексики, находящиеся на периферии языкового стандарта; 4) простонародные единицы преднамеренного шутливо-имитационного употребления и областные слова с наддиалектным статусом; 5) традиционно-народные номинации с фоновой культурной окраской; 6) собственно просторечные грубые и бранные экспрессивы; 7) низкая маргинальная лексика и вульгарное «физиологическое» сквернословие; 8) нецензурные обцензизмы (русский мат) и связанные с ним дисфемизмы и эвфемизмы; 9) общежаргонное просторечие; 10) собственно жаргонные единицы (криминальные, молодежные, подростковые, армейские и др.), тяготеющие к широкой употребительности или общеизвестные.

Например: *месить, нсв, кого. Разг.-сниж. **Сильно бить, избивать, колотить.** Такой горячий парень: чуть что – сразу кулаками м. обидчика.\* В мире главном – выдуманном – она уже непреклонно становилась на сторону порядка и справедливости... «А что ж вы делаете, паразиты!» – в телевизоре... двое молодцов месяц третьего. А. Мелихов. Любовь к отеческим гробам. =>МЕСИЛОВКА, МЕСИЛОВО. (≈ДУБАСИТЬ и др.); **бред, -а, м, собир. Неодобр. разг. **Нелепые мысли, глупые слова, бессмысленная речь; глупости.** Все это сплошной б. Надоело слушать ваш б. Б. какой-то говорит, слушать тошно!** =>БРЕДОВИНА, БРЕДОВЫЙ, БРЕДЯТИНА [5: 321, 58].*

«Толковый словарь ненормативной лексики русского языка» Д.И. Квеселевича включает в себя около 16 тысяч слов и более 4 тысяч фразеологизмов русского языка и представляет социально-маркированную и стилистически сниженную лексику. По словам автора, ненормативная лексика все активнее переходит в общее употребление, проникая в разговорную речь, язык художественной литературы и тексты средств массовой информации. Различные социальные диалекты, взаимодействуя, образуют так называемый «интержаргон».

Большинство словарных статей содержит иллюстративные примеры из произведений русских писателей, а также периодических изданий – газет, журналов и пр. В словарь включены следующие лексико-стилистические разряды слов и фразеологических единиц:

1) профессионализмы (как разговорные, так и просторечные): *аварийка, технарь, тройник* и т. п.; 2) слова и фразеологизмы, принадлежащие общему городскому просторечию, т. е. к ненормативной социально ограниченной речи горожан, находящейся за пределами литературного языка: *алконавт, амбал, тачка, гробануть, достать, до лампочки* и т. п.; 3) жаргонные слова и фразеологизмы. Этот слой ненормативной лексики включает: а) общий жаргон (интержаргон): *бабки, лох, сачок, чайник, двинуться по фазе, пролететь* и др.; б) армейский / флотский жаргон: *фазан, салага, губа, дедушка, дух, очки грести* и т. п.; в) молодежный жаргон: *таск, дискотня, чувак, флэт, шузы, предки* и т. п.; г) уголовный жаргон: *сапог, тихушник, замочить, по фене ботать* и т. п.; д) жаргон наркоманов, сексуальных меньшинств: *косяк, наркота, минет, глотать колеса* и т. п.; 4) вульгаризмы: *буфера, хрен, долбанный, гребанный* и т. п.; 5) табуированная лексика. Кроме того, словарь содержит ряд слов общей разговорной лексики с переносным значением.

Приведем несколько примеров: **абортмахер** *м прост., пренебр.* **Подпольный акушер**; **поколбаситься** *сов. прост.* **Вытворять некоторое время что-л. предосудительное, валять дурака.** И вот выпил человека полторы бутылки горькой, немножко, конечно, *поколбасился* на улице, спел чего-то там такое и назад к дому вернулся. *М. Зощенко, Землетрясение* [4: 7, 636].

«Словарь московского арга» *В.С. Елистратова* является значительным трудом, в основу которого легли слова и выражения, употребляемые не только исключительно в столице, но и во всей России. Детальному описанию в словаре подверглись разговорные, а также сленговые единицы и жаргонизмы военного, воровского и других жаргонов, например: «*литербол –а, м.* Выпивка, спиртное; процесс выпивки; пьянство, алкоголизм. Мастер спорта по ~у – алкоголик. < Передел.: ср. общ. «футбол», «гандбол» [3: 229].

Итак, словари являются источником достоверной информации об коллоквиальной лексике, поскольку социально-лингвистическая информация, содержащаяся в словарных статьях и пометах, раскрывает наиболее существенные стороны коллоквиальных слов в аспектах формы, содержания и функционирования. В социолектных словарях коллоквиальная лексика снабжается пометами «шутливо» (*jocular*), «иронически» (*ironical*), «пренебрежительно» (*scornful*), «презрительно» (*derogatory*), «неодобрительно» (*disapproving*), «эмоционально-усилительное» (*intensifying*), «разговорное» (*colloquial, informal*). Это позволяет различать в ней следующие пласты: 1) литературные коллоквиализмы; 2) низкие коллоквиализмы; 3) общие сленгизмы; 4) вульгаризмы (частично).

#### Список литературы

1. Гальперин, И.Р. Большой англо-русский словарь: в 2 т. – М.: Сов. Энциклопедия, 1972.
2. Глазунов, С.А. Новый англо-русский словарь современной разговорной лексики. – М.: Русский язык, 2000.
3. Дубичинский, В.В. Принципы лексикографирования и принципы словарей // Современные проблемы лексикографии: сб. науч. тр. / под ред. В.В. Дубичинского и др. – Харьков: ХГПУ, 1992. – С. 135–140.
4. Дубичинский, В.В. Теоретическая и практическая лексикография. – Wien-Sarkov, 1998.
5. Елистратов, В.С. Словарь московского арга: материалы 1980–1994 гг.: Ок. 8000 слов, 3000 идиоматических выражений. – М.: Русские словари, 1994.
6. Карпова, О.М. Рецензия на словари // Ялик. – 1999. – № 32.
7. Карпова, О.М. Проблемы современной лексикографии. – Иваново: ИвГУ, 2002.
8. Карпова, О.М. Лексикографические портреты словарей современного английского языка. – Иваново: ИвГУ, 2004.
9. Квеселевич, Д.И. Толковый словарь ненормативной лексики русского языка. – М.: Астрель; АСТ, 2003.
10. Коровушкин, В.П. Одноязычные словари русского лексического просторечия. – Череповец: ЧГУ, 2004.
11. Ступин, Л.П. Лексикография английского языка. – М.: Высш. шк., 1985.
12. Химик, В.В. Большой словарь русской разговорной экспрессивной речи. – СПб.: Норинт, 2004.
13. Spears, R.A. Slang and Euphemism. A dictionary of oaths, curses, insults, sexual slang and metaphor, racial slurs, drug talk, homosexual lingo, and related matters. – New York: Jonathan David Publishers, Inc., 1981.
14. Wood, F. Th. Dictionary of English colloquial idioms / Frederick T. Wood; Rev. by Robert J. Hill. – London; Basingstoke, 1979.

## Многоаспектное описание социолектизма в словаре

В статье рассматриваются вопросы структуры словарной статьи социолектной лексемы.

The article is devoted to consideration of the problems concerning the lexical article structure of the youth slang and defines its tasks.

*Ключевые слова:* словарь, социолект, словарная статья

В задачи настоящей статьи входит рассмотрение вопросов о том, как будет реализовываться многоаспектное описание, из каких зон должна состоять словарная статья социолектного словаря, как решаются спорные вопросы лексикографического описания социолектизмов (на примере молодежного жаргона).

Определим задачи лексикографического описания молодежной жаргонной лексики и фразеологии в комплексном многоаспектном словаре.

Итак, термин комплексный употребляется по отношению к макроструктуре словаря, которая должна включать Алфавитно-объяснительный словарь, Синописис идеографической части издания, Словарь молодежного лексикона в тематико-идеографических группах, Ономастикон.

Термин многоаспектный используется по отношению к микроструктуре словаря – его словарной статье, содержащей следующую информацию: заглавное слово (с указанием на орфографические и орфоэпические данные), его грамматическая параметризация, функциональная и экспрессивно-стилистическая характеристика, толкование, фразеологический материал, иллюстративный материал, точная паспортная информация его источника, информация о словообразовательных и парадигматических связях соответствующей единицы, историко-этимологические сведения.

Рассмотрим лексико-семантическую подгруппу «Родственники» (группа «Человек в обществе», класс «Человек как общественное существо»). Данная подгруппа включает, по нашим подсчетам, 45 жаргонных единиц, из них – 39 сущ., 4 прил. и 2 фразеологических оборота. В составе подгруппы «Родственники» можно выделить: а) жаргонизмы-существительные со значением 'родители (родитель)': *ко́ни / конь, ко́сти, ма́рксы, нача́льство, олды́, папаны́, парэнта́ (пэрэнта́ / пэрэнт / пэрэнты), пэрэнса́ / пэрэнс (пэрэнсы,*

\* Кандидат филологических наук, Кубанский государственный университет.

*па́рэнсы / па́рэнс) прэ́нты, прэ́дки, родаку́, родачку́, ро́дики, родяку́, сосэ́ди, ста́рцы, фа́зер-ма́зер, ха́ны, черепа́, шу́рку́, шу́руры́* (21 единица); прилагательные со значением 'родительский': *па́рэнт-то́вый, па́рэнтсо́вый, родако́вский, родако́вый* (4 единицы); а также фразеологизмы со значением 'родители дома' *шу́рку́ в стака́не, кости́ в стака́не* (2 единицы); б) наименования со значением 'отец': *ба́тинок (бо́тинок), бато́н, да́д, па́дре, папа́хен, па́пик, па́поротник, паха́н, прэ́док, фа́зер (фазёр), хан* (11 единиц); в) наименования со значением 'мать': *ма́зер, мамáн, ма́мик, матрёна, паха́нка, ха́ночка* (6 единиц); г) наименования со значением 'брат': *бра́зер (бра́йзер)* (1 единица).

Прежде всего, на примере слов указанной лексико-семантической группы рассмотрим грамматический аспект многоаспектного лексикографического описания молодежных жаргонизмов и представление его в словарной статье.

Согласно лексикографической традиции, в проектируемом словаре грамматические сведения о слове располагаются за заглавным словом статьи, и первой указывается система флексий, выражающая грамматические значения категорий числа и падежа. Заглавное слово стоит в исходной форме (И.п. ед.ч.), затем указывается форма родительного падежа ед. числа: **ПА́ПИК**, -а.

В отдельных случаях наряду с исходной формой дается форма множественного числа: **ПЭ́РЭНТ**, а, м., чаще мн. **ПЭ́РЭНТА́, ПЭ́РЭНТЫ**.

При употреблении слова преимущественно во множественном числе толкуется именно эта форма: **ОЛДЫ́**, о́в, мн.

На формальную неизменяемость существительных-жаргонизмов указывает помета «нескл.».

Далее в грамматической зоне стоит помета с указанием рода жаргонного слова. Заметим, что большинство жаргонных существительных, зафиксированных в словаре Т.Г. Никитиной [10], имеют значения либо мужского рода (~58 % от общего числа существительных), либо женского (~33 %); жаргонизмов среднего рода и существительных, употребляющихся только в форме мн.ч., немного – по 3,5 % и 5,5 % соответственно.

Сложность возникает при определении грамматического значения рода иноязычных заимствованных слов. По нашим наблюдениям, такие заимствования (в основном они англоязычного происхождения), попадая в русский молодежный жаргон, оформляются чаще всего как существительные муж. р.: *чилд*, -а, 'ребёнок' (< child); *бойфренд*, -а, 'друг, приятель, любимый' (< boy-friend); *кис*, -а, 'поцелуй' (< kiss); *лайф*, -а, 'жизнь' (< life); *чиз*, -а, 'сыр' (< cheese); *зиппер*, -а, 'застежка-молния' (< zipper); *бэг*, -а, 'сумка, рюкзак' (< bag); *стрит*, -а, 'улица' (< street); *найт*, -а, 'ночь' (< night) и др. Заимство-

ванные жаргонизмы женского и среднего родов единичны: *скул*, ж., 'школа' (< school); *ма́зер*, ж. 'мать' (< mother); *мейло́*, -а, ср., 'письмо, посланное электронной почтой' (< mail). По мнению Е.Г. Борисовой-Лукашанец, основной тенденцией в плане фонетической трансформации иностранных слов надо считать ориентацию носителей жаргона не на письменную, графическую форму заимствованной единицы, а на ее звуковой облик. Тем самым объясняется преимущественное оформление английских слов в русском молодежном жаргоне как существительных муж. р. с нулевым окончанием в исходной форме: в результате фонетических преобразований основы этих заимствований оканчиваются на согласный [З: 106–108].

В данном случае, как видно, происходит противоборство между содержательной (этимологической или ассоциативной) мотивацией рода и определением рода по формальному признаку (конечному звуку). Такое противостояние мотиваций в установлении родовой принадлежности иностранных заимствований обуславливает появление так называемой «родовой вариантности»<sup>1</sup>. Так, заимствование *дор* 'дверь' определяется русскоязычными носителями либо как существительное женского рода (по смысловой аналогии), либо как существительное мужского рода (в соответствии с внешней приметой слова – конечным согласным – формальной родовой характеристикой): *дор* а, м. или неизм., ж. 'дверь'. Например, *Только выспичить успела, дор тихонько заскрипела... Во весь тайм оф разговора он стоял бихайнд зе дора* (Макароническое травестирование произведения А.С. Пушкина «Сказка о царе Салтане»). «Родовая вариантность» также должна быть отражена в социолектном словаре.

В жаргонных существительных – наименованиях лица грамматическое значение рода и лексическое значение пола, как правило, не расходится, за редким исключением приведенного ниже примера.

**МА́МИК**, а, м. (о женщине). Мать.

*Мой мамик что-то подзревает, но я не хочу рассказывать ей о Павле.*

Подтверждением пометы, указывающей на значение рода, является, по нашему мнению, правильно подобранный иллюстративный материал.

Представляется важным также включить в словарную статью функционально-стилистические пометы, указывающие, во-первых,

<sup>1</sup> Родовая вариантность, как утверждает К.С. Горбачевич, возникает на переходных этапах, в слабых звеньях перестраивающейся системы языка. На современном этапе, по данным исследователей, в пределах русского литературного языка происходит постепенное сокращение числа родовариантных пар [5: 144–148]. Однако для современного молодежного жаргона, как показывает анализ нашего материала, явление варьирования в форме грамматического рода продолжает оставаться актуальным.

на эмотивно-экспрессивную характеристику жаргонизма в словаре (*одобр., ласк., ум.-ласк., шутл., шутл.-ирон., неодобр., пренебр., презр., груб., вульг.* и т. д.) и, во-вторых, на сферу функционирования данного слова в той или иной группе молодежи.

Многоаспектное лексикографическое описание должно отразить все возможные случаи произношения и написания того или иного жаргонизма. Появление многочисленных фонетических, графических вариантов слова связано с преимущественно устной средой его функционирования, ср.: *парэнта́ (пэрэнта́ / пэрэнт / пэрэнты); пэрэнса́ / пэрэнс (пэрэнсы, пэрэнсы / пэрэнс); прэнты*. Полагаем, что данные единицы необходимо описывать как фонетические (и соответственно графические) варианты одной единицы и представлять их в единой словарной статье.

Считаем целесообразным внести грамматическую зону жаргонного слова в алфавитный словник социолектного словаря, в котором также будет дано толкование данной единицы.

Представляется необходимым включить словообразовательный аспект в многоаспектное лексикографическое описание молодежных жаргонизмов. Рассмотрение единиц в данном ракурсе позволит установить их производящую базу, выявить происхождение жаргонизмов, уточнить ассоциативно-деривационные отношения между единицами в жаргонной лексической подсистеме языка.

По справедливому замечанию Е.А. Земской, «словообразование в жаргоне служит не только и не столько для того, чтобы создавать новые номинации, сколько для того, чтобы породить яркие, образные, несущие заряд выразительности слова, многие из которых являются экспрессивными модификациями нейтрально-литературных, просторечных или разговорных слов» [11: 18].

Значительная часть жаргонных единиц из лексико-семантической группы «Родственники» возникла на базе переосмысления общеупотребительных слов современного русского языка, например: *кости, начальство, соседи, старцы, предки, шнурки* и др. В данном случае речь идет о метафоре – «механизме речи, состоящем в употреблении слова, обозначающего некий класс предметов, явлений, и т. п., для характеристики или наименования объекта, входящего в другой класс, либо наименования другого класса объектов, аналогичного данному в каком-либо отношении» [1: 296]. Заметим, что образование метафоры связано с заимствованием не всего слова и его значений, а только его частей: звуковой оболочки и образа. Так, используя слово *шнурки* вместо слова *родители*, говорящий актуализирует определенные фрагменты содержания семантики общеупотребительного слова *шнурки* – ‘то, что связывает’, ‘то, что ограничивает в свободе’ (ср.: *зашнуровать*).

Представляется, что в случае с жаргонизмами *батон*, *ботинок* (< *батя*), *папоротник* (< *папа*) можно говорить только о звуковой близости их с общеупотребительными словами; «возникающая при этом игра слов семантически не обогащает высказывание, но лишь смешит столкновением далеких, несоединимых понятий» [7: 206–207]. Появление данных единиц – результат так называемой «фонетической мимикрии», разновидности языковой игры, основанной на замене слова паронимом [6: 19; 2: 35].

Многие молодежные жаргонизмы из лексико-семантической группы «Родственники» являются иноязычными заимствованиями: а) из английского языка: *олды* (< old ‘старый’); *парэнта* (< parents ‘родители’); *дад* (< dad ‘отец’); *фазер* (< father ‘отец’); *мазер*, (< mother ‘мать’); *бразер* (< brother ‘брат’); б) из испанского языка: *падре* (< padre ‘отец’); в) из немецкого (через идиш): *папахен* (< Pappchen ‘папочка’). Направление процесса заимствования в данном случае специфично: от русского слова («русского эквивалента») к его иностранному переводу и далее к русифицированной форме заимствованной лексемы: *родители* → *parents* → *парэнта*. В некоторых случаях необходимо говорить о намеренной вульгаризации произношения: *пренты*, *фазёр*. По наблюдениям Е.Г. Борисовой-Лукашанец, словообразовательная активность заимствований относительно невелика. Отноминальные прилагательные, по словам ученого, образуются с помощью суффикса -ов- [3: 109–110]. В нашем материале эта модель представлена следующими примерами: *пэрэнт* + -ов- → *пэрэнтовый*; *пэрэнс* + -ов- → *пэрэнсовый*. Сложное жаргонное существительное *фазер-мазер* возникает в результате словосложения англоязычных заимствованных слов: *фазер* + *мазер*.

Помимо «внешних» заимствований, лексическая группа «Родственники» содержит заимствования «внутренние» – из воровского аргота: *конь* угол. ‘отец’; *матрёна* угол. ‘малоимущая пожилая женщина’; *пахан* угол. ‘отец’; *паханка* угол. ‘мать’ [8: 277, 341, 423].

Молодежные жаргонизмы *родаки*, *родачки*, *родяки*, *родики* являются словообразовательными вариантами. Возможно, данные слова образовались от усеченной основы слова *родители* с последующим присоединением / заменой суффиксов (род[ители] + -ак(и) → *родаки*), поэтому их словообразовательное гнездо может выглядеть следующим образом:

*Родители* → *родаки* → *родачки*  
→ *родаковый* → *родаковский*  
→ *родики*  
→ *родяки*

По мнению Н.Т. Валеевой, присоединение аффиксов к ранее возникшей сленговой (жаргонной) основе может обновить её и вновь ввести в активное употребление. Словообразовательную функцию, единственной целью которой является обновление наскучившего жаргонизма, исследователь предлагает называть «деархализирующей функцией» [4: 165–173].

Что касается других молодежных жаргонизмов, то, например, слово *папаны*, по мнению некоторых исследователей, возникло под влиянием укр. *батьки* ‘родители’, а молодежная жаргонная единица *хан* образована от уол. *пахан* [8: 418–423].

Представим образцы словарных статей многоаспектного лексикографического описания.

**РОДАКІ́**, -о́в, мн. *ирон.* Родители. *В любом случае лучше рискнуть, чем зависеть от родаков.*

Гнездо: *ро́дики, родя́кі; рода́чки; родако́вый, родако́вский.*

От лит. *родители* путем усечения основы слова с последующим присоединением суффикса: род[ители] + -ак(и) → *родаки*.

Синонимы: *ко́ни, ко́сти, ма́рксы, нача́льство, олды́, папаны́, парэ́нта (пэ́рэнта́, пэ́рэнты, пэ́рэ́нса, пэ́рэ́нсы, пэ́ренсы, па́рэ́нсы, прэ́нты), прэ́дки, рода́чки, ро́дики, родя́кі, сосе́ди, ста́рцы, фа́зер-ма́зер, ха́ны, черепа́, шнурки́, шнуры́.*

**БАТИ́НОК**, -нка, м.; **БОТИ́НОК**, -нка, м. *шутл.-ирон.* Отец.

*Опять батинок в моих ботинках хиппует. Мой ботинок вернулся с загранки.*

От разг. *батя* (замена слова на созвучное лит. *ботинок*).

Синонимы: *бато́н, да́д, па́дре, папа́хен, па́пик, па́поротник, паха́н, прэ́док, фа́зер (фазёр), хан.*

**МА́ЗЕР**, нескл., ж. *шутл.-ирон.* Мать.

*Он поспешно сунул ма́ни в карман, чтобы их не заметила ма-зер, мывшая на кухне посуду.*

Из англ. < mother ‘мать’.

Синонимы: *мама́н, ма́мик, матрёна, паха́нка, ха́ночка.*

**БРА́ЗЕР**, -а, м.; **БРА́ЙЗЕР**, -а, м. *шутл.* Брат.

*Отныне я тебе не фрэнд и не бразер. Бразер, брайзер – от англ. brother (брат).*

Из англ. < brother ‘брат’.

**БОБ**, -а́, м. одобр. Борис Гребенщиков, лидер рок-группы «Аквариум».

*Менты́ прикрывают концерт «Аквариума» в ЦДРИ. Улыбающийся Боб запихивает какой-то ископаемый усилитель в багажник такси.*

Множественная мотивация: с одной стороны, оно соотносимо с иностранным вариантом имени (Борис – Боб), с другой – его можно

представить как результат сложения начала имени и начального звука отчества: Бо(рис) Б(орисови) → Боб.

Синонимы: *Гребень, Гриб, Гребендуля, БГ, Бог, Гроб Бебенщикóв.*

Таким образом, при разработке принципов описания молодежных жаргонных единиц мы опираемся на традиции и опыт отечественной лексикографии, в том числе предшествующих изданий по молодежному жаргону, а также учитываем современные требования к лексикографической деятельности, обусловленные сочетанием системоцентрического и антропоцентрического подходов к описанию слова. Одним из последствий этого синтеза должно быть создание словаря для конкретных пользователей, так называемого «очеловеченного» словаря, характеризующегося конкретными запросами [9: 143].

В качестве пользователей проектируемого словаря молодежного жаргона избираются люди, интересующиеся языком и проблемами молодежи. Таким образом, пользовательский адрес такого словаря видится достаточно широким: издание предназначается лингвистам, литературоведам, журналистам, социологам, психологам; будет полезно преподавателям вузов и школ, родителям, желающим лучше понимать язык, на котором говорят их дети.

Основными задачами словаря видятся следующие:

1. Обеспечить пользователя информацией о молодежном жаргонном лексиконе, представив ее в наиболее полном виде.
2. Обеспечить понимание содержания жаргонной единицы.
3. Предоставить пользователю необходимые сведения о «лексической» стороне жаргонного слова, позволяющие рассматривать эту единицу в составе лексической системы языка (написание, произношение жаргонизма, его грамматические, словообразовательные свойства, происхождение и т. п.).
4. Помочь пользователю систематизировать знания о молодежном жаргоне.
5. Показать семантическую избирательность молодежного жаргона, ограниченность его понятийной зоны.

Таким образом, в микроструктуру моделируемого словаря (словарную статью) представляется необходимым ввести словообразовательный аспект описания молодежных жаргонизмов: это позволит установить их производящую базу, выявит происхождение жаргонизмов, уточнит парадигматические отношения между единицами в жаргонной лексической подсистеме языка. В словарной статье предполагается также указание на синонимы заглавного слова.

### Список литературы

1. Арутюнова, Н.Д. Метафора // Лингвистический энциклопедический словарь. – М., 1998. – С. 296.
2. Береговская, Э.М. Молодежный сленг: формирование и функционирование // Вопросы языкознания. – М. – 1996. – № 3. – С. 32–41.
3. Борисова-Лукашанец, Е.Г. О лексике современного молодёжного жаргона. (Англоязычные заимствования в студенческом сленге 60–70-х годов) // Литературная норма в лексике и фразеологии. – М., Наука, 1983. – С. 104–120.
4. Валеева, Н.Т. О деархаизирующей функции жаргонного словообразования в современном русском языке // Агрессия в языке и речи. – М., 2004. – С. 165–173.
5. Горбачевич, К.С. Вариантность слова и языковая норма (на материале современного русского языка). – Л.: Наука, 1978.
6. Зайковская, Т.В. Пути пополнения лексического состава современного молодёжного жаргона: автореф. .... канд. филол. наук. – М., 1993.
7. Земская, Е.А., Китайгородская, М.В., Розанова, Н.Н. Языковая игра // Разговорная русская речь. – М.: Наука, 1983. – С. 172–214.
8. Мокиенко, В.М., Никитина, Т.Г. Большой словарь русского жаргона. – СПб.: Норинт, 2000.
9. Морковкин, В.В., Морковкина, А.В. Русские агнонимы (слова, которые мы знаем). – М.: ГИРЯ им. А.С. Пушкина, 1997.
10. Никитина, Т.Г. Словарь молодёжного сленга: (Материалы 1980 – 2000 гг.). – 3-е изд., испр. и доп. – СПб.: Фолио-Пресс, 2004.
11. Ермакова, О.П., Земская, Е.А., Розина, Р.И. Слова, с которыми мы все встречались: Толковый словарь русского общего жаргона / под общ. рук. Р.И. Розиной. – М.: Азбуковник, 1999.

## О структуре и системе языковых процессов

Статья представляет собой исследование структуры и системы языковых процессов; основывается на положении о процессуальной природе языка и доказывает, что язык (в широком понимании) как процесс проявляет себя через свою модальную структуру, состоящую из модуса, диктума и адреса. Система языка формируется относительно идеальной структуры языкового процесса – своего «нулевого» уровня.

The article is to research scientifically structure & system of the language processes. It is based on an idea, that the Language (in the wide meaning) is process, & proves that the Language is put into reality via the structure, which consists of modus, dictum and address. The system of the language processes is formed relatively to the ideal process / structure of the Language – its 'zero' level.

*Ключевые слова:* язык, процесс; модальность, структура; система.

Данная статья основывается на доказанном в современной науке положении о процессуальной (динамической) природе языка и представляет собой комплексное исследование структуры и системы языковых процессов.

Именно сегодня, когда многие теоретические и практические вопросы, стоящие перед современной лингвистикой, например, описание высших уровней (ярусов) языка, разработка их непротиворечивой типологии, создание алгоритмов перевода с одного языка на другой «не по словам и их комбинациям», не могут быть решены на методологическом фундаменте структурализма и постструктурализма, крайне необходимо обратиться к опыту лингвистов, в пике структуралистам репрезентирующих язык как процесс: «... язык – это не вещь и не сущность, но процесс во всех своих элементах, даже мельчайших» [17: 141], «... язык появляется только там и тогда, где возникает динамика бинарных форм...» [10: 5].

Исходя из того, что в современной лингвистике, психолингвистике, социолингвистике все чаще говорится, например, о языковых процессах, процессах порождения и восприятия, выражении социальных статусов в тексте соответственно, понятно, что использование вышеописанной неструктуралистской методологии будет весьма плодотворным.

Если на сегодняшний день в определенных лингвистических трудах язык (в широком понимании), признается процессом, то его основные свойства, базовые единицы, недостаточно описаны

---

\* Кандидат филологических наук, Военный университет (Москва).

проблема структуры, системы языковых процессов, до настоящего момента вовсе не рассматривалась в мировой науке.

Дескрипция языкового процесса, моделирование его структур позволит систематизировать частные (первичные / вторичные) языковые процессы, как следствие – создать модель системы процессуального языка.

В контексте того, что абсолютное большинство философских (общеметодологических) и научных (гуманитарных) школ современности питают огромный интерес к анализу языка, используют лингвистические знания для построения своих теорий, можно говорить о том, что результатом введения в их когнитивный аппарат идеи о языке-процессе, естественно, будет переопределение статуса языкознания среди других дисциплин, уточнение назначения, процессуальности и структур языка.

Основываясь на изложенных размышлениях, мы можем уверенно говорить о том, что проведение комплексного исследования структуры и системы языковых процессов и возможности их моделирования действительно необходимо для современной науки, целью данной работы будет разработка основ общей теории системности языка на базе представлений о его процессуальной (структурно-динамической) природе.

Изучая общую структуру языковых процессов, в частности, систему, формирующуюся как следствие процессуальной природы языка относительно его «нулевого» уровня, необходимо вспомнить, что в результате бурного развития мировой лингвистики, психолингвистики и социолингвистики в XX веке стало возможно говорить о языке не только как структуре (Ф. де Соссюр, И.А. Бодуэн де Куртене), но и как процессе: в западной лингвистической традиции, к примеру, Н. Хомский (генеративная синтактика), Дж. Остин (лингвистическая прагматика), А. Вежбицкая (универсальная семантика) рассматривают язык с разных позиций, единодушно считая его процессуальным (динамическим) целым, в то же время структура, система языка, как показывает анализ соответствующей лингвистической литературы, не исследуется как следствие его процессуальности (динамики языковых структур).

Кстати сказать, и неопозитивизм Б. Рассела, Л. Витгенштейна, Дж. Мура, Дж. Остина, постпозитивизм В. Куайна, К. Поппера, и идеализм Б. Кроче, Э. Кассирера, и феноменология Э. Гуссерля, экзистенциализм М. Хайдеггера, герменевтика Х.-Г. Гадамера приписывают языку ключевую роль в формировании онтологических, метафизических и гносеологических систем. В работах постпозитивистов, в частности, доказывалась релятивность знаний относительно языка, то есть обосновывается идея о его первичности по отношению к «открытому» для коммуниканта; что также косвенно подтвер-

ждает мысль о процессуальности языка. Более того, отметим, что если Э. Гуссерль обосновывал возможность прояснения структур бытия через интенциональный (в современной терминологии – прагматико-семантический) анализ, аккумулирующий в себе «раскрытие актуальностей и потенциальностей, в которых конституируются предметы как смысловые единства» [4: 358], то М. Хайдеггер и Х.-Г. Гадамер уже репрезентировали факты объективной действительности как следствия пребывания в языке: «Мысль осуществляется отношение бытия к человеческому существу. Мысль не создает и не разрабатывает это отношение. Она просто относит к бытию то, что дано ей самим бытием. Отношение это состоит в том, что мысль дает бытию слово. Язык есть дом бытия. В жилище языка обитает человек. Мыслители и поэты – хранители этого жилища» [16: 192], «истолкование – это не какой-то отдельный акт, задним числом и при случае дополняющий понимание; понимание всегда является истолкованием, а это последнее соответственно суть эксплицитная форма понимания. С осознанием этого связано также осознание языка и системы понятий, в которых осуществляется истолкование в качестве внутреннего структурного момента понимания, а это значит, что язык выходит из своего окраинного положения и становится в центр философии» [3: 364].

Очевидно, на современном этапе в русле науки и философии язык представляется как объективный процесс и среда существования коммуниканта соответственно, что позволяет говорить как о возможности описать язык на основе его процессуальной природы (методом моделирования динамики его структур, реконструкции динамического отношения между ними), так и о включенности всего «открытого» для коммуниканта в язык.

Заслуживает особого внимания тот факт, что современные наука и философия через 2,5 тысячи лет после появления работ Гераклита, утверждающего первоначало единого логоса (языка) по отношению к объективной действительности, снова пришли к положению о языке как неком трансцендентном целом, на фоне которого могут проявлять себя бытие и мышление. Действительно, осознание природы языка в новейших формах мировоззрения восходит к идеям в том числе западной Античности: к примеру, если в Древней Греции язык (в античной терминологии – единый логос) анализировался с позиций модуса, логики, внутренней формы языка (софисты, Сократ), диктума, текста, внешней формы (Эмпедокл, Анаксагор, Левкипп, Демокрит) или эйдоса, объективных независимых от коммуниканта представлений, идей (Платон) как «автономных» структур, то уже в новейшее время язык был признан структурой, находящей свое выражение через «модус – диктум» (Ф. де Соссюр, Ш. Балли), и процессом, который, предположим, может быть (по аналогии с вы-

шеизложенным) представлен как единый комплекс модуса, диктума и адреса (в ранней терминологии – эйдоса).

В контексте того, что коммуникант «погружен» в динамику языка, категории модуса, диктума и адреса понимаются максимально широко – как собственно динамика (диктум) «моего» языка (модуса) к определенному «внутриязыковому» адресу соответственно: модус есть стремление реализовать себя в языке-процессе (в узком смысле – предизирующее начало), адрес есть знак языка-процесса (в частности, – предизируемый компонент), диктум – собственно процесс предикации (пребывания в процессуальности языка).

Подчеркнем, что методологическое основание, предопределяющее исследование языка в качестве экзистенциальной среды и объективного процесса, *реализующего себя через модус, диктум и адрес*, системно «вбирает» в себя достижения современной философии и науки, что в общем и целом соответствует тенденции развития современной науки о языке: «для современного этапа языкознания характерны выросший интерес к семантике и прагматике, особенно к теории речевых актов, контакты языкознания с философией» [5: 622], поэтому может считаться перспективным для проведения лингвистического анализа языковых процессов.

Исходя из изложенного, можем утверждать, что высшее (конечное / начальное) знание, доступное для человека, заключено в представлениях о языке, его процессах и структуре; коммуникация как средство получения таких представлений есть метод пребывания в динамике языковых процессов, назначением которого является уточнение отношений между теми или иными структурами через непосредственный или опосредованный контакт с ними; а язык как процесс существовал всегда: онтологическая, гносеологическая и метафизическая системы его носителей есть следствие осознания его процессуальности (структурности); язык как среда, средство коммуникации, непосредственно коммуникация, последовательно формирующий психологическую, социальную сферы его носителей, появился в тот момент, когда он впервые попал в поле зрения (стал предметом интереса) последних.

Как известно, в традиционной терминологии отношение между системно-статическими категориями модуса («я считаю, что...») и диктума («нечто есть...») определяется как «модальность»; в свете рассуждений о необходимости ввести в научный оборот категорию адреса как структуры, обеспечивающей языковую динамику и включенность «открытого» для коммуниканта в язык, представляется возможным сохранить данный термин, наполнив его новым содержанием: признать динамическую модальность, состоящую из модуса, диктума и адреса, структурой (формой выражения) языковой процессуальности.

Категория «модальности», как следствие, выводится из контекстов философии (реальность – ирреальность), логики (утверждение – отрицание), семиотики (утверждение – вопрос – побуждение), традиционного языкознания (долженствование – возможность – желание – необходимость), грамматики (достоверность – недостоверность высказываемого): категория признается собственно лингвистической (формальной, структурно-динамической); она интерпретируется как категория языкового (нетекстового, неглагольного) уровня, понимается не как свойство языка, а как форма (структура) языкового процесса; любая репрезентация модальности, так или иначе, восходит к сущности процессуального языка.

Анализ отношения между структурами языкового процесса (модальной организации) признается единственным методом проведения объективного лингвистического исследования, результатом чего будет являться вскрытие сущности структур процесса (в частности) и языка-процесса (в целом).

Частность (вариативность) проявлений процессуальности языка основывается на том, что ее структуры объективно существуют, но могут быть выражены эксплицитно («ярко») или имплицитно («завуалировано»): варианты, объединяемые по критерию аналогичной «внешней» структуры (для примера, – с «затененным» модусом и выраженными диктумом и адресом) представляют собой дискурс того или иного языкового процесса. Это означает, что любые проявления языка (в широком понимании) не случайны, а предопределены динамикой языковых процессов (в общем) и их модальной / дискурсивной организацией (в частности); язык проявляет себя в дискурсах, которые, в свою очередь, предопределяют специфику частных процессов порождения, восприятия текстов (высказываний), дискурс – это структуры, объединяющиеся и объединяемые по критерию аналогичной «внешней» формы.

В свете изложенного, можем утверждать, что именно процесс, находящий свое выражение через структуры модуса, диктума и адреса, является тем «нулевым уровнем», относительно которого будут выстраиваться синтагматические и парадигматические отношения между языковыми проявлениями; их парадигматический статус определяется свернутостью относительно полной модели, то есть количеством реконструкций, необходимых для восстановления всего процесса, синтагматические отношения – сосуществованием проявлением в одинаковом состоянии «свернутости».

Парадигматические отношения, что исходит из логики исследования, имеют несколько уровней: высшего уровня (язык как процесс, его типы), второго уровня (с учетом социоориентированности, адреса) – народно-разговорная речь, профессиональное и диалектное говорение, третьего уровня (с учетом психоформирующих факторов,

модуса) – единицы стилистического, синтаксического уровня (текст, предложение). Естественно, что данная система открыта к дальнейшему уровневому анализу (реконструкции), лексемы, морфемы, фонемы есть «точки зрения», с которых рассматриваются языковые проявления, суть выраженные адрес, модус, диктум соответственно.

Вышеизложенное позволяет создавать типологию высших ярусов языка, которая, что очень важно, представляет национальные (этнические) языки как частные процессы, существование которых определяется единой динамической природой языка (в широком понимании): ареальная, генеалогическая и типологическая классификации языков есть системы, описывающие национальные (этнические) языки с разных «точек зрения» внутри единого языкового процесса.

Национальный (этнический) язык может быть репрезентирован как объективно существующая (независящая от коммуникантов), единая, универсальная (то есть – более чем обособленно внутренняя и внешняя), структурная (наднациональная) и динамическая (неисторическая) сущность, системно «дрейфующая» в системе языковой процессуальности.

Типы языков, существующие в динамике языковых процессов, могут быть представлены как структуры с выраженным «модусом и диктумом» (агглютинативные), «диктумом и адресом» (флективные, подлежащие), «модусом и адресом» (изолирующие, топиковые). Инкорпорирующие языки будут представлены языками, в которых (во внешней форме, по максимуму) выражаются все структуры языкового процесса.

Далее, исходя из процессуальной сущности языка, утверждаем, что всеобщее говорение, народно-разговорная речь есть процесс, в котором эксплицированы модус и диктум, то есть – выражаются авторское начало и собственно говорение, в профессиональном говорении – отображены диктум и адрес (говорящий обезличен, выступает не от себя, а от имени, например, профессионального сообщества по тому или иному вопросу), в диалектном говорении отношение «модус – адрес» идентифицируется как «свой / чужой диалог» в отличие от языка-нормы; идиолект, литературный язык, национальный язык – «чистый» модус (динамика моего языка), диктум (совокупность текстов-норм) и адрес (осознание неких языковых структур как отдельного объекта) соответственно.

Подытоживая вышесказанное, подчеркнем, что формируемая в данной работе общая теория системности языка основывается на представлениях о его экзистенциальной и процессуальной природе. Исходя из данной методологической установки, сделаем несколько выводов:

- первое, язык (в широком понимании) как процесс проявляет себя через свою модальную структуру, состоящую из модуса, диктума и адреса; категории модуса, диктума и адреса понимаются максимально широко – как собственно динамика (диктум) «моего» языка (модуса) к определенному «внутриязыковому» адресу соответственно;
- второе, идеальный процесс, находящий свое выражение через структуры модуса, диктума и адреса, является тем «нулевым уровнем», относительно которого будут выстраиваться синтагматические и парадигматические отношения между частными языковыми процессами, то есть формироваться их система;
- третье, парадигматические отношения между языковыми процессами имеют несколько уровней, а именно: высший уровень – язык как процесс, его типы, второй уровень (с учетом социоориентированности, адреса) – народно-разговорная речь, профессиональное и диалектное говорение, третий уровень (с учетом психолингвистических факторов, модуса) – единицы стилистического, синтаксического уровня (текст, предложение);
- четвертое, частность (вариативность) процессуальности языка основывается на том, что ее структуры объективно существуют, но могут быть выражены эксплицитно («ярко») или имплицитно («завуалировано»).

И, наконец, последнее: подчеркнем, что сделанные в данной работе выводы основываются на достижениях современных форм мировоззрения (философии и науки) и, естественно, в первую очередь, определяются «глобальностью» постановки проблем, нуждающихся в дальнейшем детальном обосновании.

#### **Список литературы**

1. Витгенштейн, Л. Логико-философский трактат. – М.: Изд-во иностр. лит., 1958.
2. Витгенштейн, Л. Философские работы.– М.: Гнозис, 1994. – Ч. I.
3. Гадамер, Х.Г. Истина и метод. Основы философской герменевтики. – М.: Прогресс, 1988.
4. Гуссерль, Э. Избранные работы. – М., 2005.
5. Иванов, Вяч. Вс. Языкознание / Лингвистический энциклопедический словарь. – М.: Сов. энцикл., 1990.
6. Кассирер Э. Философия символических форм. – М.: Университетская книга, 2002. – Т. I (Язык).
7. Кассирер, Э. Познание и действительность. Понятие субстанции и понятие функции. – М.: Гнозис, 2006.
8. Кроче, Б. Антология сочинений по философии. – СПб.: Пневма, 1999.
9. Кроче, Б. Эстетика как наука о выражении и как общая лингвистика. – М.: Intrada, 2000.

10. Курдюмов, В.А. Идея и форма. Основы предикационной концепции языка. – М.: Военный университет, 1999.
11. Остин, Дж. Три способа пролить чернила. Философские работы. – СПб.: Алетейя; изд-во СПбГУ, 2006.
12. Поппер, К.Р. Логика и рост научного знания // Избр. работы. – М.: Прогресс, 1983.
13. Поппер, К.Р. Объективное знание. Эволюционный подход. – М.: Эдиториал УРСС, 2002.
14. Рассел, Б. Исследование значения и истины. – М.: Идея-Пресс, 1999.
15. Соссюр, Ф. де Заметки по общей лингвистике. – М.: Прогресс, 1990.
16. Хайдеггер, М. Время и бытие: ст. и выступл. – М.: Республика, 1993.
17. Шухардт, Г. Избранные статьи по языкознанию. – М.: Эдиториал УРСС, 2003.

УДК 81.367

**А. Н. Анисимова\***

### **О приоритетах в изучении синтаксических единиц**

Статья посвящена актуальным проблемам статуса словосочетания в русском синтаксисе и вопросам приоритетов в изучении синтаксических единиц в общеобразовательной и специальной (коррекционной) школе.

This article is devoted to actual problems of syntax units in russian syntax and also to changing of priorities in syntax units studying in normal and special correction schools.

*Ключевые слова:* словосочетание, предложение, ситуативная речь.

При обсуждении проблемы обучения языку применительно к различным категориям обучающихся не только лингвисты, но и методисты предлагают исходить из сущности самого языка. Эта мысль многократно высказывалась Л.В. Щербой [16].

На особую роль предложения, как своеобразной лингвистической единицы в овладении языком, в развитии общения, в формировании понятийного мышления указывали многие лингвисты и психологи. Предложение как важную единицу коммуникации оценивали все выдающиеся лингвисты в связи с обсуждением различных теоретических проблем языкознания (Ф.И. Буслаев, А.А. Шахматов, А.М. Пешковский, В.В. Виноградов и др.). Одно из определений предложения, данное А.А. Шахматовым, достаточно емко рассматривает его функциональное назначение: «Предложение является воспроизведением коммуникации средствами языка» [13: 167]

---

\* Кандидат филологических наук, доцент, Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина.

Большинство лингвистов обращаются к рассмотрению предложения для описания через его структуру всей системы языка – для доказательства того, что речь в виде целых предложений предшествует языку, что язык выводится из речи [7].

Последовательность возникновения единиц языка и речи становилась предметом внимания исследователей. Так, А.А. Шахматов считал, что «в языке бытие получили сначала предложения, позже путем расчленения предложений ... из них выделились словосочетания и слова» [13: 7].

А.М. Пешковский отмечал, что язык не составляется из элементов, а дробится на элементы [10].

Предложение используется и для разграничения понятий «язык» и «речь». «Так как предложение в силу своего ситуативного характера обладает качеством уникальности, конкретности и творческого преобразования.... оно первично по своей природе. Это и дает повод для отнесения его к речи. При этом условии все то, что оказывается ниже предложения, относится к языку. Язык – это анатомия предложения» [3: 185].

В процессе овладения ребенком речью Л.С. Выготский выделял два вида синтаксирования – смысловой и фазический: «смысловая сторона речи развивается от целого к части, от предложения к слову, а внешняя сторона речи идет от части к целому, от слова к предложению» [1: 306].

В методике развития речи указывается, что усвоение слов, даже в значительном количестве, никогда не приводит к овладению речью, вместе с тем, освоение речевых образов в виде различных предложений приобретает особую значимость в отношении обучения неговорящих детей.

Овладевая наборами конкретных предложений, обучаемый не только накапливает запас различных структурных схем (моделей) и слов, но и постигает многообразие ролей слов в этих моделях. [9].

Усваивая отдельные слова, а затем, пытаясь их соединять друг с другом, строить предложения, изучающий язык не может сам выбрать нужную структурную схему. Для этого необходимо не только владеть набором схем (моделей), но и уметь действовать по образцу с усвоенным ранее материалом. Такое умение вырабатывается в процессе специального обучения построению предложений и словосочетаний, а также в ходе языковых наблюдений.

Рассматривая типологическую характеристику разных языков, В.Н. Ярцева отмечает, что «практически каждый язык обладает не только конечным, но в целом и весьма ограниченным набором синтаксических моделей» [17: 7]. Из этого следует, что при обучении языку необходимо планировать не только конкретный фразовый или лексический материал, но и определенные ( типовые) структурные

схемы предложений и модели словосочетаний, что будет способствовать как усвоению требуемого набора коммуникативных единиц, так и развитию самой языковой способности.

В исследовании, проведенном Л.П. Носковой, показана последовательность освоения глухими детьми десяти структурных схем предложений, когда сначала дети усваивают наборы готовых предложений, затем строят их из отдельных слов (по вопросам), а потом строят близкие по структуре, но новые предложения из знакомых слов.

В исследовании Л.П. Носковой приоритеты при развитии речи детей остаются за предложением. Однако не все ученые разделяют эту точку зрения. Например, по мнению А.К. Марковой, основную функцию высказывания – сообщение о каких-либо событиях и предметах действительности или об отношении говорящего к ним – могут выполнять различные синтаксические конструкции (подчеркнуто нами – А.А.). Высказыванием могут быть построения, специально предназначенные для сообщения. К ним относится предложение, имеющее определенные особенности формы, соответствующие этой функции. В то же время, высказыванием могут быть построения, специально предназначенные не для сообщения, а для называния (например, словосочетания).

Существенной особенностью предложения, как отмечает А.К. Маркова, является то, что для него в языке существуют свои собственные структурные схемы. Эти схемы поддаются полному перечислению. Если для предложения возможность быть самостоятельной единицей сообщения ничем не обусловлена, то для словосочетания возможность быть сообщением ограничена некоторыми условиями (обязательное вхождение в контекст или опора на речевую ситуацию). В этих случаях словосочетания в роли высказывания образуют формы ситуативной речи, которая, как известно, широко употребляется людьми в определенных условиях общения [8: 54–55].

Ситуативная речь характерна и для детей с проблемами в развитии. Было бы логичным воспользоваться этим, базируя процесс обучения на соответствующей синтаксической единице.

В этой связи показательно исследование Л.П. Столяровой, в котором отмечается, что выполнять коммуникативную функцию – еще не значит быть коммуникативной единицей. Словосочетание в контексте и через контекст входит в систему коммуникативных средств языка, различаясь при этом степенью воплощения коммуникативной функции [11].

Разная функциональная нагруженность словосочетания как синтаксической единицы позволяет выделить три функциональных класса в системе словосочетаний, среди которых особый интерес

представляет второй класс – словосочетания с повышенной функциональной загруженностью (заместители предложений). Они не являются самостоятельными высказываниями, но в конкретных условиях речевой коммуникации обретают некоторую предложенческую самостоятельность, которая определяет их использование в процессе общения. Например: – Что это? – синяя тетрадь – где купили? – В соседнем магазине.

Итак, коммуникативность свойственна не только предложению, и коммуникативный уровень как уровень предложения не является единственным, поскольку есть и другие языковые средства, которые способны выполнять коммуникативную функцию.

Как видим, вопрос приоритетности изучения синтаксических единиц является дискуссионным прежде всего потому, что по проблемам коммуникативной востребованности словосочетания в лингвистике нет единства.

Наиболее приемлемым в связи с этим является мнение Д.Н. Шмелева [15], который считает, что при преодолении в 50-е годы фортунаатовской точки зрения на предложение как на одну из разновидностей словосочетания в нашем языкознании укрепился тот взгляд, что «словосочетание и предложение – качественно различные категории синтаксиса» [2: 11]. Резкое разграничение предложения и словосочетания, безусловно, способствовало более глубокому пониманию каждой из этих единиц синтаксиса. Однако это же однозначное разграничение данных конструкций как-то отодвинуло вопрос об их взаимодействии, о возможности преобразования одной из них в другую, то есть о возможности употребления некоторых конструкций, совпадающих по составу с предложением, в качестве словосочетаний, наоборот, возможности предикативного статуса разных типов словосочетаний.

В лингвистике отсутствуют сведения о том, какие же сочетания словоформ могут образовать только словосочетания, а какие из них (и при каких условиях) выступают то как словосочетания, то как предложения.

Словосочетание в понимании Ф.Ф. Фортунатова представлено как своего рода структурная схема объединения знаменательных слов, независимо от того, образуют они предикативное или непредикативное сочетания. Понятно, что никакого «приравнивания» словосочетания и предложения в том смысле, в каком различаются эти понятия в современных описаниях синтаксиса, не происходит: изучается возможность сочетания различных словоформ друг с другом и дается определение этих сочетаний с точки зрения их морфологических особенностей и возможностей синтаксического функционирования («законченные» и «незаконченные» словосочетания).

Ф.Ф. Фортунатов никак не стремился затушевать различие между законченным и незаконченным словосочетанием, но, рассматривая законченное словосочетание как основу предложения, как бы подчеркивал этим, что это только схема предложения, поскольку интонация и порядок слов при таком анализе не учитываются.

Разграничение синтаксиса предложения и синтаксиса словосочетания привело к тому, что остались не раскрытыми подлинными, именно структурные границы, разделяющие эти синтаксические единицы [15].

Методика обучения русскому языку, утверждая приоритет изучения предложения в курсе синтаксиса, в то же время отмечает необходимость знания законов построения словосочетаний для лучшего усвоения учащимися структуры предложения: «Всякий раз, когда мы строим предложения, мы опираемся на словосочетания, берем их из языка в уже готовом виде, а не конструируем заново. Особенно это очевидно на языковых штампах» [6: 74].

В начальной школе ученики составляют предложения (в том числе двухсловные, совпадающие с предикативной основой) по картинке, по наблюдаемому действию, по заданию учителя и т. д. Однако акцент, делающийся при составлении предложений на их коммуникативность, мешает детям в должной мере осознавать ту роль, которую играют в синтаксисе словосочетания, являясь фактически первоосновой синтаксической связности.

Здесь уместно вспомнить точку зрения Ф.Ф. Фортунатова, который говорил, что «словосочетание – двусловное соединение, члены которого – самостоятельные слова, связанные подчинительной зависимостью, выполняющие или (!) номинативную, или (!) коммуникативную функцию, поскольку словосочетание может выражать целое психологическое суждение» [12].

Многие дефектологи отмечают, что обращение к методикам преподавания русского языка в общеобразовательной школе может удовлетворить лишь частично: отдельные советы и рекомендации не учитывают специфики учения ребенка с тем или иным нарушением, они не складываются в сколько-нибудь стройную систему; цели и задачи специального обучения языку не столько по формулировкам, сколько по содержанию отличаются от таковых в массовой школе.

В частности, сами сроки начала систематического изучения словосочетания в общеобразовательной и в специальной (коррекционной) школе должны отличаться: если в обычной школе словосочетания как единицу языка начинают изучать с 3–4 класса, то для этого есть основания (у детей чувство языка, словарный запас и грамматический строй речи сформированы уже к семи годам). Однако в специальной (коррекционной) школе работу над словосочетанием

надо осуществлять с первого класса, поскольку речевые нарушения, связанные с недоразвитием грамматического строя языка и чувства языка в целом, для учащихся этих школ типичны.

Не случайно К.В. Комаров, анализируя основные категории лингвистики, отмечает, что «целесообразно (вслед за многими языковедами) в число языковых единиц включать и словосочетание, поскольку в лингвистической системе ему отводится важная роль как структурированному единству, обладающему и свойствами слова, и некоторыми чертами синтаксических единиц» [4: 83].

К.Г. Коровин, отмечая приоритетность изучения именно словосочетательных конструкций в условиях обучения русскому языку в школе I–II вида, указывает: «Привлечение внимания учащихся, овладевающих речью в специально организованном учебном процессе, к особенностям языковых единиц, способами их изменения и сочетания способствует более сознательному и ускоренному овладению речевыми навыками, компенсирует недостаток естественной речевой практики» [5: 182].

И.М. Шишкова, изучая пути развития коммуникативной функции речи умственно отсталых старшеклассников, указывает, что использование на уроках специальных речевых опорных схем в качестве необходимой помощи при грамматическом оформлении развернутого объяснения предполагает в том числе и работу на уровне синтезирования словосочетаний [14].

В специальной методике русского языка отмечается, что позиции изучающего язык и овладевающего им практически диаметрально противоположны.

Изучающий язык ставит задачу обнаружить, проанализировать, какое содержание выражается знаками, их сочетанием, и через значение подойти к реальной действительности, к самим ее предметам, явлениям, отношениям между ними. Для такой задачи выбирается в учебной программе формальный принцип описания языка – от формы к значению (этот принцип главенствует в общей методике изучения русского языка).

Перед учеником, овладевающим языком (в специальном обучении), возникает иная проблема: как обозначить явления реальности, существующие в ней связи, выразить свое отношение к предметам и явлениям, сформулировать свою мысль, сообщить ее другим с помощью языковых средств? Иными словами, направление здесь другое: от представления, значения, смысла к их материально-языковому (формальному) выражению. Для такой задачи должно выбрать иной способ организации языкового материала и языковой микросистемы – семантико-функциональный.

Своеобразное проявление системного характера языка в выборе методических решений видно на примере формирования грамма-

тического строя языка в школа I–II вида. Здесь в учебных целях строится микросистема грамматических средств для первоначального усвоения, (работы К.В. Комарова, Л.М. Быковой и Е.Е. Вишневской, И.В. Колтуненко и Л.П. Носковой, К.Г. Коровина и др.), важным компонентом которой является именно словосочетание. В оформлении учащимися связного высказывания, правильном построении предложения ведущая роль принадлежит устойчивым навыкам образования словосочетаний. До тех пор, пока не образуется этот навык, невозможно рассчитывать на безошибочное оформление грамматических связей в предложении, даже при условии привлечения различных грамматических схем, семантико-грамматического анализа и других вспомогательных средств [5: 172].

Сказанное выше не означает, что словосочетание как основа синтаксической связности используется при обучении в основном в школе для глухих и слабослышащих. Примером могут служить исследования, проводимые в общеобразовательной школе, где учащиеся имеют первичную речевую патологию. В частности, изучается поэтапное содержание и приемы коррекции нарушений устной и письменной речи в 1–2 классах. Среди этапов работы выделим второй, имеющий непосредственное отношение к приоритетам в изучении синтаксических единиц. Вторым этапом имеет ряд задач, в частности, уточнение значений используемых синтаксических конструкций; овладение учащимися словосочетаниями, связью слов в предложении, моделями различных синтаксических конструкций.

Восполнение пробелов в области лексических средств следует увязывать с отработкой различных синтаксических конструкций, которую максимально удобно осуществить при прохождении темы «Образование слов с помощью приставок», так как значение каждого вновь образованного слова (посредством приставки) усваивается лучше в словосочетаниях и предложениях.

Детей учат группировать слова, руководствуясь определенными лексико-грамматическими признаками: уметь выбирать из читаемого текста слова и словосочетания в соответствии с темой занятия.

В пользу выбора словосочетания как приоритетной синтаксической единицы при обучении свидетельствуют следующие факты:

- 1) семантические функции в речи ребенка развиваются постепенно, поэтому на первых порах ребенок употребляет в речи конструкцию, отражающую только данный, усвоенный тип семантических отношений, выражаемый словосочетанием;
- 2) при овладении словосочетанием происходит развитие синтаксической (языковой) предикативности, усвоение валентности слов;
- 3) малый объем слухоречевой памяти, приводящий к неспособности одновременного установления нескольких типов се-

мантических отношений, а так же несовершенство сукцессивных процессов приводит к тому, что детьми употребляются двусловные словосочетания, которые впоследствии преобразуются в предложения (для чего и необходимо увеличить долю конструктивных упражнений при обучении);

- 4) приоритет словосочетания в условиях обучения русскому языку в специальной (коррекционной) школе позволит учащимся более сознательно и быстро овладеть связностью речи (за счет усвоения различных моделей словосочетаний);
- 5) работа по синтезированию словосочетаний различных моделей является необходимой отправной точкой для грамматического оформления распространенных структурных схем предложения.

Итак, вопрос о приоритетах в изучении синтаксических единиц остается дискуссионным. Слишком долго методика отражала традиционную лингвистическую теорию, отказывавшую словосочетанию в его особой роли в качестве основы синтаксической связности. Исключительное внимание к предложению как основной синтаксической единице привело к тому, что словосочетание рассматривают только как «строительный материал» для предложения.

Сочетание подлежащего и сказуемого, а также сочинительные сочетания, не считают возможным относить к словосочетаниям. Словосочетанию отказывают и в его способности нести коммуникативную функцию в качестве частичного знака коммуникативной ситуации.

Однако и языковой материал, и речевая действительность свидетельствуют о том, что назрела необходимость серьезных изменений в методологии изучения синтаксиса. Практика показывает, что отсутствие должного внимания к словосочетанию при обучении связности речи приводит к несформированности у учащихся тех речевых умений, без владения которыми невозможен качественный процесс овладения связной речью. Не понимая природы словосочетания в целом, учащиеся в основном механически расчленяют предложения на «пары слов», не соотнося речевой материал с признаками словосочетания как синтаксической единицы.

Необходимо, наконец, определить приоритеты в обучении таким образом, чтобы у учащихся формировалось практически ясное представление о месте и роли словосочетания в синтаксисе. Для этого следует, во-первых, четко различать конструктивный и коммуникативный синтаксис, во-вторых, рассматривать предикативное сочетание слов на уровне конструктивного синтаксиса как словосочетание (так же, как и сочинительный ряд слов), в-третьих, вести обучение связной речи с опорой на словосочетание в качестве ее первоосновы.

### Список литературы

1. Выготский, Л.С. Собрание сочинений. – М., 1982–84. – Т. II.
2. Грамматика русского языка. – М., 1954. – Т. II Синтаксис. – Ч. 1.
3. Звегинцев, В.А. Предложение и его отношение к языку и речи. – М., 1972.
4. Комаров, Н.В. Основные категории лингвистики в вузовском курсе «Методика обучения русскому языку в школах для слабослышащих» // ДФ. – 1994. – №3. – С. 80–87.
5. Коровин, К.Г. Практическая грамматика в системе специального обучения слабослышащих детей языку. – М., 1976. – С. 254.
6. Костромина, Н.В. Словосочетание как единица языка // НШ. – 1969. – № 4. – С. 74–78.
7. Ломтев, Т.П. Предложение и его грамматические категории. – М., 1972.
8. Маркова, А.К. Психология усвоения языка как средства общения. – М., 1974. – С. 240.
9. Носкова, Л.П. Обучение глухих дошкольников простому предложению // ДФ. – 1993. – №3. – С. 54–58.
10. Пешковский, А.М. Русский синтаксис в научном освещении. – М., 1938.
11. Столярова, Л.П. Имя существительное в малом синтаксисе современного русского литературного языка (субстантивная конструкция): автореф. ... канд. филол. наук. – Днепропетровск, 1990.
12. Фортунатов, Ф.Ф. Избранные труды: в 2 т. – М., 1957. – Т. II.
13. Шахматов, А.А. Синтаксис русского языка. – 2-е изд. – Л., 1941.
14. Шишкова, М.И. Пути развития коммуникативной функции речи умственно отсталых старшеклассников // ДФ. – 1999. – №6. – С. 14.
15. Шмелев, Д.Н. Словосочетание и предикативность // РЯШ. – 1975. – №5. – С. 72–76.
16. Щерба, Л.В. Фонетика французского языка. – М., 1937.
17. Ярцева, В.Н. Иерархия грамматических категорий. Типологическая характеристика языков // Типология грамматических категорий. – М., 1975.

### ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ, ПРИСЫЛАЕМЫМ В ЖУРНАЛ

•Для публикации в «Вестнике Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина» принимаются научные статьи на русском языке.

•Обязательным условием публикации результатов кандидатских исследований является наличие рецензии доктора наук по соответствующей специальности, которая должна быть представлена в печатном виде, подписана рецензентом, подпись заверяется в отделе кадров соответствующей организации; отзыв научного руководителя (несущего ответственность за качество представленного научного материала и достоверность результатов исследования); выписка из протокола заседания кафедры.

•Публикации результатов докторских исследований принимаются без рецензий, редакция оставляет за собой право отправить рукопись на независимую экспертизу.

•Статья должна содержать УДК и на отдельном листе аннотацию на русском и английском языках, включая название на английском языке, ключевые слова.

•Статья присылается в двух экземплярах вместе с сопроводительными документами: сведения об авторе (авторах): Ф.И.О., должность, учёные степень и звание, домашний адрес, место работы, номера телефонов, адрес электронной почты. Статья должна быть подписана всеми авторами. Предпочтение отдаётся статьям, написанным единолично.

•Вместе с печатным вариантом текст предоставляется также в электронном виде на электронном носителе. Электронная версия статьи выполняется в формате Word в виде одного файла без разбивки на страницы, переносов, шрифтовых выделений. Объём статьи не должен превышать 16 страниц машинописного текста формата А4 (210 x 297 мм), напечатанного через полуторный интервал, включая текст статьи, таблицы, рисунки и библиографию (оформляется в соответствии с ГОСТом 7.1–2003). Текст статьи должен быть распечатан на лазерном или струйном принтере (гарнитура «Arial», кегль 14).

В случае несоблюдения настоящих требований, редакционная коллегия вправе не рассматривать рукопись.

Редакция оставляет за собой право вносить редакционные (не меняющие смысла) изменения в авторский оригинал.

При передаче в журнал рукописи статьи для опубликования резюмируется передача автором права на размещение текста статьи на сайте журнала в системе Интернет.

Гонорар за публикации не выплачивается.

*Редакционная коллегия:*

196605, Санкт-Петербург, Пушкин

Санкт-Петербургское шоссе, 10

тел. (812) 479-90-34

E-mail: Vestnik\_LGY@list.ru

*Научный журнал*

**Вестник  
Ленинградского государственного университета  
имени А. С. Пушкина  
№1 (9)**

**серия филология**

Редактор *А. А. Титова*  
Технический редактор *Н. В. Чернышева*  
Оригинал-макет *Н. В. Чернышевой*

---

Подписано в печать 30.01.2008. Формат 60x84 1/16.  
Бумага офсетная. Гарнитура Arial. Печать офсетная.  
Усл. печ. л. 11,5. Тираж 500 экз. Заказ № 168

---

Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина  
196605, Санкт-Петербург, Пушкин, Петербургское шоссе, 10

---

РТП ЛГУ 197136, Санкт-Петербург, Чкаловский пр., 25а